

Тень власти

Автор:

Поль Бертрам

Тень власти

Поль Бертрам

В романе – «Тень власти» действие переносит нас в Нидерланды конца XVI века. Вовсю бушует нидерландская буржуазная революция, свирепствуют герцог Альба, инквизиция и испанские солдаты. В это время испанский наместник Гертруденберга граф Хаим де Хоравер спасает от костра инквизиции прекрасную Марион де Бреголь, обвиненную в служении дьяволу и черной магии. Борьба с инквизиторами и любовь привели его на сторону врагов Испании, где он под именем графа Ван Стинена стал популярным военачальником принца Вильгельма Оранского.

Роман насыщен самыми невероятными приключениями, войнами, интригами и любовными историями – всем, что любит читатель авантюрно-исторической литературы.

Поль Бертрам

Тень власти

Предисловие

Однажды мне пришлось жить в некоем старом доме в Антверпене. То был старинный аристократический дом, и во времена его пышности и блеска едва ли

кто-нибудь мог бы поверить, что некогда его будут поденно отдавать внаем иностранцам. Но величие и падение сменяют друг друга. Так все идет в этом мире. Чудную лестницу и полированный дубовый пол топчут теперь недостойные их ноги.

Мне было жаль старого дома в нем не было ничего рыночного, вульгарного. Каждая вещь, несмотря на свою ветхость, свидетельствовала о суровом былом великолепии. Моя комната была просторна, воздуха в ней было много, а кровать с резными ножками и безукоризненным бельем годилась бы для отдохновения короля. Сначала я долго ворочался, но под конец отказался от всякой попытки заснуть и приготовился покорно встретить бессонную ночь. Пока я лежал в кровати, предаваясь своим думам, мои пальцы лениво постукивали по, украшениям дубовой панели, которой была отделана стена. Каждая панель имела свой собственный рисунок, но на всех было вырезано какое-то странное животное, похожее на тигра в короне. Как я уже сказал, мои пальцы механически постукивали по резьбе, как вдруг дерево под их давлением подалось, и моя рука очутилась в пустом пространстве. Я просунул ее дальше, пока не нащупал нижний край панели.

Я вскочил, быстро зажег свет и взял подсвечник, чтобы взглянуть, что произошло. Оказалось, что я нечаянно задел потайную пружину и заставил панель открыть маленькую нишу, в которой лежала старая книга в кожаном переплете с серебряными застежками. Кроме нее, в нише ничего не было. Я взял книгу и стал ее рассматривать. То была очень старая книга, пергаментные листы которой были покрыты пятнами, но в общем она хорошо сохранилась.

Мне было очень любопытно ознакомиться с ее содержанием. Ведь недаром же пролежала она столько времени в стене, сохраняя свои тайны. Может быть, это Библия: всякий, у кого была Библия, должен был тщательно скрывать ее во времена испанского владычества. Но нет, на Библию она не была похожа.

Некоторое время я смотрел на нее, затем осторожно открыл со странным чувством почтения к этой старой книге, столь неожиданно найденной мной в глухую ночь, после того как она пролежала столько столетий на своем месте.

Застежки не были заперты, я тихонько открыл их и взглянул.

То был дневник. На первой странице я нашел дату – 1572 год, пятый год правления в Нидерландах герцога Альбы. Написан он был на испанском языке того времени. Всю ночь и добрую половину следующего дня я разбирал слова, написанные тонким почерком, и старался ухватить общий смысл всего записанного.

Я хорошо читаю по-испански. Но здесь было немало устаревших выражений. Встречался южный диалект, и это требовало привлечения всех моих знаний. Кроме того, имена лиц и названия местностей, очевидно, были написаны сокращенно. Обозначены были только начальные буквы, да и то не всегда. Странный неразборчивый значок – вот и все. Дневник велся нерегулярно: от одной до другой записи нередко проходило много времени.

Я старался вспомнить, что знал о том периоде. Но ни одно имя, ни одно название не подходили к этой истории. Я перерыл все книги и летописи, какие мог достать, но все было напрасно. Мне не удалось найти недостающих записей, не удалось определить то, что автор в своих целях так искусно скрыл. Рассказанные им события разыгрались, несомненно, в двух небольших, но не лишенных значения голландских городах. В каких именно, я сказать не могу. Пожелтевшие листы книги и выцветшие буквы строго хранят и будут еще хранить свою тайну.

В рассказе, от которого у меня нет ключа, появляются, между прочим, мрачные фигуры инквизиторов. Прошло уже больше трех столетий со времени подвигов инквизиции, время набросило покров на их деяния, от многих процессов не осталось и следа, и ни одного документа не дошло до нас. С 1520 по 1576 год, год усмирения Гента, в Голландии известны имена восьмидесяти инквизиторов. Но, кроме главных и областных инквизиторов, работало немало их делегатов. Немало посылалось инквизицией и доминиканцев. Исполнив данное им поручение, они возвращались в свой монастырь, и о них сохранила память лишь надгробная плита.

Это, конечно, не могло служить мне путеводной нитью. Оставалось одно средство – терпеливо перерывать один за другим архивы всех голландских городов, история которых не была в прямом противоречии с рассказанной в книге. Но в силу обстоятельств я не мог сделать этого до сих пор, да и едва ли сделаю когда-либо в будущем. Поэтому я решил издать эти страницы, вставив вымышленные имена вместо настоящих, которые мне не удалось обнаружить, и добавив от себя то, что отсутствовало в книге. Это было необходимо: иначе было

бы трудно читать эти страницы, особенно лицам, мало знакомым с историей того времени. Необходимо сказать, что я не ручаюсь за правильность выбранных мной имен. Но мне не хотелось бы откладывать опубликование этой истории ради тонкой морали, заключенной в ней, – морали, которая годится не только для того времени, но и для всех веков.

Часть первая

Гертруденберг, 1 октября 1572 года

Хочу записать все, что случилось.

Мы выехали из Тургаута до рассвета, приказав седлать лошадей, когда была еще глухая ночь. День наступал медленно, ибо с низин поднимался густой туман. Он охватывал нас, как мокрое платье, и пронизывал до мозга костей. Воздух был холодный и сырой. Стоял уже октябрь. Дыхание вырывалось из ноздрей наших лошадей, как пар. Со спин у них струилась вода, а сбруя блестела от мелких капель. До чего ни дотронешься – все мокро, поводья прилипают к кожаной перчатке.

Люди садились на лошадей со сдерживаемой бранью. Я понимаю их чувства. Было самое начало зимы, и до наступления весны придется мириться и с холодом и с мраком, если нас не убьют к тому времени. И хотя выругаться иной раз и хорошо, однако это не может разогнать осенний туман в Голландии.

Мы сумрачно ехали в этом странной полусвете – ни день ни ночь. Люди, ехавшие в авангарде, смутно виднелись передо мной на дороге. На их шлемах и оружии дрожал слабый, трепещущий отблеск, то появлявшийся, то исчезающий, смотря по тому, выезжали они из тумана или опять погружались в него. За ними мир, казалось, расплывался в какой-то хаос. Все это мне приходилось видеть в Голландии не в первый раз. И однако я помню каждую подробность нашего пути в это утро, быть может, вследствие тех происшествий, которые разыгрались потом.

Время от времени неясное очертание дерева проплывало мимо нас. Словно какая-то тень поднималась с соседнего поля стая ворон, вспугнутая нашим появлением, и, будучи невидима, проносилась над нашими головами. Затем опять нависала тишина, и ни один звук не прерывал ее, кроме случайного поддакивания оружия и шлепанья лошадиных копыт по грязи.

Мы почти никого не встречали на нашем пути, а если и встречали, то всякий боязливо бросался в сторону, уступая нам дорогу. Эта часть Брабанта всегда была довольно безлюдна, а за последние годы стала еще безлюднее. Лишь изредка мы проезжали мимо какой-нибудь деревушки. Одна половина их была разграблена и сожжена «лесными ребятами», а другая – нашими войсками, преследовавшими этих «лесных ребят». Немудрено, что встретить деревню теперь было трудно.

Иногда вдруг перед нами выплывала группа лошадей и через минуту исчезала опять, как будто ее и не было. Не было видно никаких признаков жизни, никто не приветствовал наше появление. Мы проезжали словно по мертвому царству, не слыша даже сдержанной брани или проклятий. Молча ехали мы по пустынным улицам, словно привидения, не оставляя за собой никакого следа.

Наш долг призывал нас следовать дальше. Бреда осталась на несколько миль слева. С этого места мы должны были ехать проселочными дорогами. И наши проводники могли бы без труда сбить нас с пути, но они были слишком запуганы. Мы возвращались после взятия Моиса и гнали остатки разбитой армии принца Оранского обратно с Маасу и Рейну, словно собак к их конурам. Никто не посмел бы оказать сопротивления испанцам по эту сторону великой реки.

Мы упорно ехали вперед с самого рассвета, но перемен никаких не было. Мы были в пути уже четыре часа, и лошади стали уставать. Но мы дали им отдохнуть перед этим и не обращали на них внимания. Приказано было ехать безотлагательно и без проволочек.

Чем дальше мы ехали, тем длиннее казалась нам дорога – узкая полоска, затерявшаяся в бесконечной дали. Можно было сказать, что за ней лежит целая вечность. А может быть, и вправду вечность – по крайней мере, для некоторых из нас.

В пути было запрещено громко разговаривать. Впрочем, в таком запрете не было и надобности: и без того никто не был расположен к тому.

Странные фантазии навевал этот туман: разрывая его пелену, так плотно покрывшую весь мир, вдруг показывались те, кого считал уже давно умершими и похороненными, – любимая женщина, с которой ты поступил нехорошо, враг, убитый нечестно, – каждый из нас испытывал что-нибудь подобное.

Все было серо и холодно. В эту проклятую погоду можно проскакать несколько миль и не согреться. А будешь только дрожать в седле.

Итак, мы тащились уже давно, а густой туман по-прежнему висел над нами, как будто – собираясь оставаться здесь до самого Страшного суда. И вдруг все изменилось.

Ночью шел сильный дождь. Лужи стояли на дороге, отражая серый, пасмурный свет. Я уехал вперед с целью осмотреть местность, лежавшую перед нами, хотя это казалось напрасной попыткой. Вдруг я заметил, что по дороге скользнул какой-то свет. Он задрожал на поверхности воды и пробежал по ней, словно расплавленное серебро.

Я взглянул на небо. Сделалось светлее – светлее от того самого серебряного света, который я заметил на воде. Свет становился все ярче и ярче, серебро превращалось в золото. В эту минуту туман, закутывавший все, разорвался на две части, и перед нами показались темные силуэты стен и башен города, который, казалось, был построен на зыбком тумане. Это продолжалось с минуту. Затем видение исчезло, и все стало опять так же серо и однообразно, как было прежде. Казалось, что башни совсем близко от нас. Я невольно натянул поводья, когда видение явилось перед нами. Без сомнения, то же сделали и мои люди. Но они были так дисциплинированы, что без приказания не смели замедлить рыси.

– Что это – город? – спросил я солдата, ехавшего рядом со мной.

Он бывал раньше в этих местах, и я рассчитывал, что он знает местность. С нами были и проводники, но я всегда предпочитаю обращаться с вопросами, если возможно, к своим солдатам.

– Да, сеньор, – отвечал он тихо, упавшим голосом. По-видимому, долгий путь на рассвете в холодную погоду оказал на всех угнетающее действие.

– Далеко до него? – строго спросил я.

– Неизвестно, – тем же унылым тоном отвечал он.

– Кажется, он совсем близко, но что можно сказать при таком дьявольском тумане, который в этой стране может сбить всякого с пути праведного, хотя бы он и был рядом.

– Если тебе удастся попасть на небо, то только в такой лень, как сегодня. В тумане тебя не выгнали бы за ворота рая, – раздражительно заметил я.

Это был солдат, поседевший в боях, знающий свое дело, но на его совести лежало больше грехов, чем можно было сосчитать.

– Предоставь спасаться святым, если им охота браться за такое трудное дело. Лучше сообрази поскорее, сколько нам еще остается до ворот города.

Старый солдат выпрямился в седле.

– Постараюсь, сеньор, но это не так-то легко. Этот проклятый туман может сбить с толку не то что человека, но и самого дьявола.

И он принялся внимательно разглядывать местность. С виду она была такая же, как и прежде, час тому назад. Низкая желтоватая трава, время от времени группа ив, через значительные промежутки толстое дерево. Однако он, видимо, узнал местность по приметам, известным ему одному. Он стал украдкой креститься и пробормотал несколько слов, которые я не расслышал. Потом он сказал:

– Мне кажется, что мы будем у ворот минут через десять, сеньор, если будем ехать тем же аллюром. Может быть, впрочем, придется ехать и дольше, но никак не меньше.

Он ехал, разговаривая тихо сам с собой:

– Я принес хороший дар Святому Йоану и Богородице Турнайской. Что же еще могу я сделать?

Эта местность, очевидно, вызывала в нем множество воспоминаний.

Я прервал поток его воспоминаний, неожиданно повернувшись и скомандовав тихим, но строгим голосом:

– Сомкнись! Смирно и держись наготове!

Он сказал «минут через десять». Возможно, что и меньше. Я не мог знать, что нас ожидает. Если вас посылают с небольшими силами привести к повиновению непокорный город, то приходится стараться, чтобы с самого начала не попасть впросак.

Не прошло и десяти минут, как вдруг перед нами все потемнело. Через минуту наши лошади шли по дереву, и перед нами зияла огромная черная дыра. То были городские ворота. Туман вползал в них и снова выплывал оттуда – все было безмолвно и пустынно. Моя рука инстинктивно схватилась за меч, но я отдернул ее: я готов был к любому сопротивлению, но не ожидал его в этих безлюдных и безмолвных местах.

Казалось, мы въезжаем в город мертвых. С самого раннего утра мы ехали во мраке и теперь словно переходили пограничную линию, отделявшую свет от тьмы. Все это было причудливо и фантастично, как сон. Я чувствовал какое-то странное желание остановиться здесь же и не идти навстречу неизвестности. Но что-то внутри толкало меня дальше, и мы проехали под мрачными сводами ворот, под которыми еще горел одинокий фонарь. Путь наш лежал по темным безлюдным улицам с безмолвными домами, очевидно, покинутыми своими обитателями. Мы инстинктивно ехали медленно.

Улица, на которую мы въехали, была довольно широкая, так что крыши ее домов терялись в тумане. Иногда, когда туман поднимался или спадал, глаз охватывал весь дом от нижнего этажа до деревянного верхнего. Двери и окна были закрыты, когда мы проезжали.

Конечно, тут должно бы оказаться немало любопытных, ибо в моем лице въезжала в город его судьба – милостивая или грозная, смотря по моему желанию. Но нигде не было и признаков жизни, ни один звук не заглушал глухого стука подков наших лошадей о мостовую. Подозревая ловушку, я уже готов был скомандовать «Стой!» – но уверил себя, что на это они не решатся. Молча ехали мы дальше с одной улицы на другую, руководимые чем-то, чего я не сумею определить. Я думаю, что это-то люди и называют судьбой. Наконец мы скорее почувствовали, чем увидели, что улица перед нами расширяется, и, словно с общего согласия, потянули поводья.

В эту минуту серая пелена как будто отодвинулась в сторону. Это было уже второй раз в это утро. Над нами пронесся резкий порыв ветра, расчищая пространство, и между плывшими кусками рассеивавшегося тумана показались три высоких черных столба, мрачно поднимавшихся к светлеющему небу. Из-за серебристого тумана, который еще окружал их, я скорее угадал, чем увидел их.

Через несколько минут все разъяснилось. Мы стояли на краю базарной площади, а перед нами поднимался эшафот с тремя виселицами. К среднему была привязана женщина с густыми темными волосами. Словно затравленный зверь, и она дико смотрела по сторонам. Ее шея и руки были открыты. Рубашка кающегося грешника составляла ее единственное одеяние. Руки и ноги ее были привязаны веревками к столбу. Она была высокого роста, с красивым и гордым лицом, которое было бледно, как у мертвеца. Глаза ее расширились от страха. Когда они встретились с моими, я прочел в них призыв о помощи, выраженный с такой силой, что мне никогда не приходилось прежде видеть ничего подобного в человеческих глазах. Она напоминала мне кого-то из знакомых, хотя я и не мог сказать, кого именно. Реального сходства с кем-либо не было. Другой жертвой, с правой от нее стороны, была старуха с редкими белыми волосами, с искажившимися от пыток и страха смерти чертами. Что касается третьей жертвы, то трудно сказать, был ли то мужчина или женщина. Страдания сделали из него нечто неузнаваемое. Голова его упала на грудь, и он, по-видимому, находился без сознания.

Тут же был и палач со своими орудиями пытки, а в двух шагах от него стоял монах, руководивший всем этим делом, с бледным, изможденным лицом и глубоко посаженными, горящими глазами. Несмотря на строгое выражение лица, складки у рта его говорили, что он остается мужчиной со всеми страстями, свойственными мужчине, – наполовину аскет, наполовину жертва чувственных желаний. Монахи этого именно типа обычно преследуют женщин и,

насладившись ими, отправляют их на костер. Инквизитор не должен был присутствовать при казни, но в Голландии теперь не приходится думать о строгом соблюдении формальностей. Да и, кроме того, у него, очевидно, были свои причины для этого. У эшафота жидкая линия солдат едва сдерживала возбужденный народ, приливавший, словно взволнованное море, к столбам, на которых был укреплен эшафот.

Таинственность, которой сопровождалось наше вступление в город, и безлюдье, царившее всюду, теперь стали понятны. Все стекалось сюда взглянуть на зрелище, а может быть, и не для того только. Стража, очевидно, ушла от ворот сюда же. Что могло произойти, если бы мы не явились вовремя, я не берусь сказать. Толпа, видимо, была настроена враждебно. Но кто может угадать, что будет делать толпа? Она приходит в ярость или поддается страху благодаря какому-нибудь звуку, одно слово может разнуждать или устроить ее.

Угрюмо и неподвижно сидели мы в седлах. Тусклый утренний свет едва поблескивал на оружии и шлемах.

Народ увидел нас, и в толпе вдруг поднялся ропот. Люди остановились, как по мановению волшебного жезла. Все взоры устремились на нас со страхом и удивлением. Наступил решительный момент. Я до сих пор вижу три фигуры у позорного столба и монаха, как хищника, караулившего свою добычу. Внизу темная масса народа, двигавшаяся туда и сюда по площади, вверху – бесстрастные к сутолоке крыши и шпили домов, позлащенные восходящим солнцем. Во главе моих закованных в железо солдат я безмолвно стою, держа в своих руках нити судьбы.

Я заметил, что свет распространяется все более и более. Я видел, как крыши из серых делались постепенно оранжевыми, пока не загорелись огнем. Я видел, как пламя вспыхнуло в окнах, обращенных к востоку. Но на площади еще царил полумрак. На нас падало лишь слабое отражение зари, отчего белое платье женщины у позорного столба казалось еще белее.

Я уже поймал однажды ее взгляд. И опять мне стало казаться, что она упорно зовет меня, и я как-то странно вздрогнул от этого призыва. Я считал себя твердым, и обращенные ко мне просьбы не раз оставались без последствий. Благодаря этому я так быстро продвинулся по службе. Не раз приходилось мне видеть, как сжигали людей, и я смотрел на это зрелище спокойно и равнодушно. Но на этот раз я решил – сам не знаю почему, – что ее нужно спасти. Быть

может, мне показалось слишком соблазнительным заставить судьбу покориться моей воле. Быть может, мне захотелось узнать, насколько сильна моя власть. Я уже давно привык ставить власть превыше всего. А быть может, я был лишь бессознательным орудием судьбы, помимо моей воли. Я хотел спасти ее здесь же, на эшафоте, в самый момент торжества монаха. Это была опасная затея – в тысячу раз более опасная, чем столкновение с раздраженной толпой, запрудившей площадь и прилегающие улицы, насколько хватало глаз. В шуме толпы слышались угрожающие ноты, которые свидетельствовали, что народу надоели пытки и позорные столбы. Иногда он проявлял и сопротивление, но скоро понял, что от этого дело только ухудшается. Они явились сюда с оружием и хотя отступили перед нами, однако лица у всех были нахмурены, а губы плотно сжаты.

Тут нашлось бы достаточно рук, чтобы стащить нас с седла, и ног, чтобы потом растоптать на смерть, если б только они посмели. Но они не посмели, ибо мы были испанцами – имя ненавистное, но и страшное, как террор.

Народ не пугал меня, но в лице этого священника передо мной стоял член святой церкви, исполнявший одну из самых дорогих его сердцу обязанностей. Всякий знает, что это значило в царствование Филиппа II. Я не был безоружен относительно него, но все-таки спорить с ним было чрезвычайно опасно. Но я проехал с герцогом Альбой от Средиземного моря через всю Европу до Нидерландов и, что бы ни говорили про него, должен сознаться, что он приучил своих людей искать опасности и укрощать их, как женщин.

Еще раз я посмотрел на дрожащую толпу и на доминиканца, спокойно и бесстрастно стоявшего у столба, и скомандовал:

– Трубы!

Звонко и резко звучали трубы, пока мы медленно двигались вперед. Народ давал нам Дорогу, и вот наконец мы посередине площади.

– Дон Рюнц де Пертенья, – громко сказал я, нарочно стараясь говорить так, чтобы меня было слышно везде, – прочтите данный мне приказ. Дон Рюнц, мой лейтенант, взял бумагу, которую я ему передал, развернул ее и стал читать:

«Именем его Величества короля Филиппа II, обладателя Испании, обеих Сицилии и Индии, герцога Миланского и Брабантского, графа Артуа Голландии и Фландрии, да сохранит его Бог, и в силу полномочий, предоставленных нам как главному правителю Нидерландов, мы сим назначаем дона Хаима де Хорквера, графа Абенохара, губернатором города и округа Гертруденберга со всеми гражданскими и военными полномочиями, ответственным после нас только перед королем.

Дан в Монсе 20 сентября 1572 года.

Фернандо Альварец де Толедо,

герцог Альба, правитель Нидерландов».

Когда дон Рюнц окончил чтение, воцарилась глубокая тишина. Все стояли, сбившись в кучу, как овцы при внезапном появлении волка. Я посмотрел на них с минуту, наслаждаясь их страхом, и сказал:

– Кто до сего времени управлял городом?

Сначала ответа не было. Наконец сквозь толпу стал протискиваться высокий старик с длинной белой бородой, одетый в черный бархатный камзол, с золотой цепью на шее. В то же время на небольшое свободное местечко, которое образовалось перед нами, вышел офицер, командовавший солдатами у эшафота. Оба они остановились и оглядывали друг друга.

Вопрос о том, кто раньше был правителем, обыкновенно возбуждал в таких случаях немало споров. Чаще всего горожанину приходится уступать перед солдатом как здесь, так и во многом другом. Представитель города не имел вид человека, который забывает о своих правах и достоинстве, но он понимал, что теперь не время говорить об этом. Командир гарнизона, вышедший из простых солдат, колебался, не зная, что ему делать. В эту минуту седобородый бургомистр находчиво пригласил его жестом рядом с ним и сказал:

– Сеньор Лопец, не угодно ли вам будет присоединиться ко мне, чтобы приветствовать прибытие господина губернатора.

Подойдя ко мне, он снял шляпу и вежливо поклонился, – я убежден, что в его жилах есть капля испанской крови, – и сказал:

– Позвольте почтительнейше и достоительно приветствовать ваше превосходительство по прибытии в добрый и верный город Гертруденберг. Позвольте заверить вас в полном нашем послушании, – как повелевает нам наш долг, – его Величеству королю на земле и Господу Богу на небесах. Я прошу извинения за то, что вам пришлось прибыть во время события, которое плохо согласуется с чувством радости. Если бы мы знали заранее о вашем прибытии, то, несомненно, встретили бы вас более подобающим образом. Сеньор Лопец, командовавший вооруженными силами короля в нашем городе, представится вам сам. Я же готовый к услугам вашим первый бургомистр города Гендрик ван дер Веерен.

Это была хорошая речь – учтивая, без подхалимства. Я готов поклясться, что во фразе, где говорилось о чувстве радости, была скрытая ирония. Мне этот старый бургомистр все более и более начинал нравиться. Вот человек, который не был солдатом, который, может быть, просидел большую часть жизни над тюками с товарами на каком-нибудь складе, но в котором оставались и находчивость, и мужество перед лицом опасности. Город и он сам были в полной моей власти, а что значила власть ставленника герцога Альбы, почувствовал не один город, верность которого была подвергнута сомнению.

Он нравился мне, потому что мне до тошноты надоели униженные уверения в преданности, с которыми меня встречали всюду на моем пути от Монса. Но мне нельзя было обнаруживать своих чувств. Я должен был держаться бесстрастно и строго.

– Ваша речь хорошо вторит мирной мелодии. Благодарю вас. Но я не уверен, что меня приняли бы так мирно, если б я заранее известил вас о своем прибытии, – сказал я, холодно взглянув на него.

Он слегка побледнел:

– Мое дело ведать мирными делами, и я приветствовал бы вас так же. Военные дела касаются не меня, а сеньора Лопеца.

Опять хорошо сказано.

Я повернулся к командиру гарнизона, который отдал мне честь и стоял безмолвно, невольно отступив перед ван дер Веереном на второе место. Встретив мой взгляд, он встрепенулся и вышел вперед.

– Позвольте вас спросить, всегда ли вы считаете туман наилучшей охраной для доброго города Гертруденберга? Другой охраны я не встретил при моем прибытии.

– Ваше превосходительство, стража у ворот была поставлена, как всегда, в меньшем числе. Я не могу понять, почему вы не нашли людей на их посту. Остальные мои силы – они, как изволите видеть, очень невелики – я стянул сюда на аутодафе по приказанию досточтимого дона Бернардо Балестера.

– Это ваш командир, этот дон Бернардо Балестер? – спросил я.

– Ваше превосходительство... – залепетал он, выпучив на меня глаза.

В эту минуту монах, очевидно, слышавший наш разговор, медленно подошел к краю эшафота. Важно поклонившись, он сказал:

– Дон Бернардо Балестер – это я, недостойный брат ордена Святого Доминика. Я послан сюда инквизитором, чтобы очистить эту общину от скверны. Прошу не гневаться на этого достойного офицера. Все, что он делал, делалось в соответствии с моими желаниями, в которых я руководствовался основательными причинами.

Он говорил это с такой уверенностью, как будто сеньор Лопец и я сам были посланы сюда только для того, чтобы угодить ему во всем. Я вспомнил – я не раз слышал это от герцога, да слышал неоднократно и в дороге, пока ехал сюда из Брюсселя, – что этот монах был рекомендован епископом Рермондским Линданусом, который воображал, что может представлять церковь так, как это было при Иннокентии IV, когда король с покорностью принимал всякие распоряжения папы и его легантов. Но с тех пор времена переменились, и сам Линданус скоро почувствовал это. Наши мечи поддерживали церковь, ибо такова была воля короля. Но мы вложили бы их в ножны, если бы приказание было изменено.

Я с высокомерной снисходительностью ответил на поклон монаха и сказал:

– Я надеюсь, достопочтенный отец, что вы имеете надлежащие полномочия, которые дают вам право так действовать. Позвольте спросить, в чем обвиняются эти три лица.

– В служении дьяволу и Черной магии, сеньор.

Это было страшное обвинение. Если б это было нечто обычное, вроде того, что человек присутствовал на собрании кальвинистов, что считалось государственным преступлением, то я мог бы не церемонясь, вырвать это дело у монаха. Инквизиторам не приходилось спорить со светскими властями о пределах их компетенции, и губернатор может многое сделать, особенно здесь, в Голландии. Но обвинение в ведовстве подлежало исключительно церковной власти.

Впрочем, поразмыслив, я даже обрадовался, что речь идет о ведовстве. Ведьмы не составляли секты, которая грозила бы существованию церкви, и потому на меня не могло пасть подозрение, что я покровительствую еретикам. Кроме того, в некоторых делах мы в Испании держались гораздо более просвещенных взглядов, чем здешний народ.

Как бы то ни было, я решился спасти ее.

Монах сказал о Черной магии.

– Это весьма серьезное дело, достопочтенный отец, – отвечал я. – Но почему на казнь этих вредных лиц вызвали весь гарнизон. Ведь эта казнь должна была бы доставить удовольствие всем добрым католикам. Надеюсь, что этот город – не гнездо ведьм и анабаптистов?

– Нет, – отвечал бургомистр. – Поверьте мне...

– Не очень-то ему верьте, – вскричал монах. – Тут царит дух неповиновения, еретики и ведьмы так и кишат и находят себе поклонников во всех классах. Но здесь правосудие уже свершилось, и ничья рука не может остановить его.

Я стиснул зубы и улыбался про себя, думая, что он может еще сказать. Инквизиторы не привыкли, чтобы у них вырывали их добычу. Я еще не совсем

разгадал этого человека. Женщина отличалась поразительной красотой, и ревностному инквизитору, к услугам которого в Голландии целые стаи еретиков, недолго приходится искать ведьм.

Монах, впрочем, еще не кончил.

– Я прошу вас исполнить ваш долг, – говорил он, обращаясь ко мне. – Я требую правосудия. В ваших руках меч. Припомните – им вы должны разить. Грех против святой церкви вопиет об отмщении. Исполните ваш долг!

– Я исполню свой долг и без вашего напоминания об этом, достопочтенный отец, – холодно отвечал я. – Мин хер ван дер Веерен, – продолжал я, обращаясь к бургомистру, который молча слушал нашу беседу; я знал, что он прислушивался к ней с жадным любопытством, – вы слышали, какие обвинения против вас и вашего города были заявлены достопочтенным отцом, пекущимся о спасении ваших душ. Что вы можете возразить?

В моем взгляде и голосе, очевидно, было одобрение.

– От имени города и от себя самого я почтительнейше протестую против заявления достопочтенного отца. Мы гнушаемся ведьм и всяких учений, отвращающих от истинной веры. Наш город – гавань, и к нам приезжают люди из других местностей, за которых мы не можем отвечать. Все остальное население – честные граждане. И да дозволено мне будет сказать, достопочтенный отец далеко заходит в спасении наших душ. Мадемуазель Марион де Бреголль – он указал на женщину в середине – известна как особа вполне добродетельная, и народная молва говорит, что достопочтенный отец введен в заблуждение злыми языками и ложными свидетельствами. Говорят еще и другое, чего я не могу здесь повторить.

По мере того как он говорил, он становился все смелее и смелее.

– Мы обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы процесс был пересмотрен. Мы все, не только народ, но и городской совет, уверены, что тогда невиновность, несомненно, будет обнаружена. Мы также просим о правосудии.

Он преклонил передо мной колена и поднял руки. Ветер играл его длинной седой бородой. Сзади него безмолвно стояла густая толпа народа. Все глаза

были устремлены на меня, в чьих руках была жизнь и смерть. В глазах доминиканца светился злой огонек, пока бургомистр говорил. Но теперь он потух, и монах холодно сказал:

– Их языки изрыгают хулу, ваше превосходительство. Как вам неизвестно, судопроизводство инквизиции – тайное, и его нельзя объяснять всем. Ее приговор окончателен, и против него нельзя возражать. Эта женщина осуждена на основании вполне надежных свидетельств в числе, даже превышающем положенное. Кроме того, она созналась, хотя сатана укрепил ее сердце и она не принесла покаяния.

Я глядел на нее во время этой речи, но не мог решить, слышала она это или нет. Она стояла к нам спиной, и ветер дул с нашей стороны, и она не могла говорить.

– Ее признание, конечно, внесено в протокол суда? – спросил я.

– Я его не видел! – вскричал бургомистр, все еще стоявший на коленях.

– Внесено ли оно в протокол или нет, но факт остается фактом, – строго сказал монах. – Я уже сказал, что она созналась. Что же касается этого человека, то вы слышали его слова. Он изобличается ими в бунте против церкви и в ереси. Я прошу арестовать его и доставить на суд церкви.

Это был истый монах, из породы тех, которые не отступят ни на шаг, хотя бы под их ногами разверзлась пропасть. Школа Линдануса сильно отразилась на нем. Его холодная и высокомерная надменность, без сомнения, заставляла повиноваться ему многих, но не меня.

– Насколько я могу понять, вы просили о правосудии, достопочтенный отец, и вам оно будет оказано. По крайней мере, то правосудие, на которое можно рассчитывать на земле. Что же касается полного правосудия, то вам придется подождать его до Страшного суда. Мадемуазель де Бреголль, – крикнул я звонким голосом, который был слышен по всей площади, – вы действительно сознались? Отвечайте мне откровенно.

Неподвижная фигура у столба вздрогнула, как будто бы жизнь вдруг вернулась к ней, и она громко и ясно отвечала:

– Никогда, даже на пытке, я не признавалась, ибо я невиновна. Клянусь Господом Богом, к которому я готова отойти.

Доминиканец побагровел от гнева. Теперь я вывел его из обычного равновесия. Прежде чем он нашелся, что возразить, я заговорил сам:

– Все это очень странно. Я надеюсь, что почтенный отец имеет надлежащие полномочия в этом деле. Вам предъявлялись его грамоты? – обратился я к бургомистру.

– Он мне их не показывал.

– Как? Грамоты не были предъявлены? Мне приходилось слышать, что здесь шатается немало монахов, которые хвастаются будто бы данными им поручениями. Надеюсь, вы не принадлежите к их числу, достопочтенный отец?

Глаза монаха сверкали яростью.

– Берегитесь, – закричал он. – Вы очарованы лживой внушительной внешностью и гладкой речью служителя сатаны. Его голос для вас сладок, как мед, и ваши уши не слышат скрытого в нем яда и ожесточения. Вы зачарованы, как птица перед змеей. Берегитесь, говорю я. Неужели заведомая колдунья заслуживает большей веры, чем служитель святой церкви? Разве вам неизвестно, что всякий, кто вздумает подрывать приговор, вынесенный инквизицией, тем самым навлекает на себя подозрение в ереси? Берегитесь, говорю вам.

Эти слова могли бы запугать многих, но не меня.

– Не старайтесь одурачить меня, – холодно сказал я. – Кто, кроме вас, присутствовал при разбирательстве этого дела?

– Никто. Да в этом и надобности не было.

– В силу закона вы не могли разбирать дело один. Кроме вас, должен был присутствовать кто-нибудь из членов областного совета. Если не было такого представителя, то какое-нибудь другое лицо, уважаемое и назначенное к тому советом! Отсутствие уполномоченного делает недействительным и приговор.

– Однако если такого человека нет, то на практике... Ибо закон...

– Мое дело не обсуждать закон, а заставлять его исполнять. Кто вам дал приказ вмешиваться в дела веры?

Он побледнел, видя, что я переменил с ним тон. Пора было кончать с этим делом.

– Досточтимый отец, доктор Михаил де Бей, великий инквизитор, – отвечал он.

– Можете вы доказать это? Он побледнел еще более:

– Что же из того, что у меня нет здесь доказательств? Разве мое имя и одеяние не служат достаточным доказательством?

– Нет, не служат. Иначе всякий монах в Нидерландах будет выдавать себя за инквизитора. Моя обязанность беречь от обманщиков церковь вверенного мне округа. Я не допущу ни одного инквизитора, если он не назначен надлежащим образом и не представит грамоты. Последний раз спрашиваю вас: есть ли у вас грамоты?

– Положим, что их у меня нет. Что же из этого? Я получу их в самое непродолжительное время.

– В таком случае, – сказал я, возвышая голос так, чтобы он был всем слышен, – я объявляю приговор, произнесенный над этими лицами, уничтоженным. Дело, возбужденное против них, будет отложено до тех пор, пока его не возбудят вновь законно уполномоченные на то лица. Приказываю немедленно отвязать их от столба. Сеньор Родригес, – сказал я, повернувшись к одному из моих офицеров, – понаблюдайте за исполнением моего приказания.

Но монах никак не хотел уступить. Он выставил вперед крест и, высоко подняв его, громко закричал:

– Их жребий брошен и запечатана судьба их! Писано то есть: не потерпи, чтобы колдунья была в живых! Освободить их было бы таким же святотатством, как прервать богослужение. Берегитесь! Вы боретесь с Господом, ваши

распоряжения ничтожны, и никто не будет их слушать. Разве вы не видите: ангел Господень сошел с небес и держит свой меч над этой священной оградой, пока не искуплен будет грех и не очистится город! Это жертвы Господни, и горе тому, кто коснется до них! Засохнет рука его, и проклятие падет на него в сей жизни и в вечной! Горе, повторяю вам!

Я улыбнулся. Мало же знал он испанских начальников, если воображал, что, сделав то, что я сделал, рискнув своей головой, я остановлюсь перед его декламацией и проклятиями. И я снова улыбнулся при мысли, что он сам дал мне отличный козырь против себя, сказав, что мои люди не будут мне повиноваться. Он может быть уверен, что я не забуду упомянуть об этом в письме к герцогу.

– Святой отец не вполне понимает, что говорит, очевидно, от поста и ночных бдений, – сказал я с презрением. – Исполняйте то, что я вам приказал, – повторил я офицеру.

Это довело монаха до бешенства. Он повернулся и крикнул палачу, чтобы тот приступал к исполнению приговора.

Дело принимало решительный оборот. Родригес, слезший с лошади, стоял около нее в нерешительности и не двигался с места.

Я ожидал этого, зная, что в делах такого рода не могу быть вполне уверен в моих испанцах. Я нарочно дал приказание именно ему, не особенно важному человеку, которого я, конечно, не бросил бы в пути, но отделаться от которого я давно искал случая. Я не мог оставить его без наказания заслушивание, тем более что знал настроение моих солдат, – суеверие сидело в них слишком глубоко.

К счастью, почти половина моего отряда состояла из немцев, которые вербуются за деньги во все страны. Они ревностные лютеране, и самому католическому из королей поневоле приходится мириться с этим, если он не может обойтись без них. Впрочем, они не особенно щекотливы в вопросах религии и готовы вести войну с самим Господом Богом, если будет приказано. Поэтому, когда им случается подцепить монаха, это только прибавляет им веселости.

Это различие вероисповеданий в войсках очень полезно для всякого, кто чувствует себя выше этих различий и умеет управлять обстоятельствами.

Обыкновенно мои испанцы сердились, когда я в каком-нибудь особенном случае обращался к немцам. Теперь они могли только поблагодарить меня за это.

Тут были еще итальянцы сеньора Лопеца и палач с его помощниками, но я мало надеялся на них.

– Герр фон Виллингер, – обратился я к капитану немецкого отряда, стоявшему от меня слева, – распорядитесь, чтобы полдюжины ваших людей двинулись вперед, и понаблюдайте, чтобы мое приказание было исполнено.

– Слушаю, дон Хаим, – быстро ответил он и вызвал своих людей. То был человек, который любил в точности исполнять поручения.

– Сеньор Родригес, – продолжал я, – вы считаетесь теперь под арестом. Дон Рюнц, потрудитесь завтра же учинить над ним суд по обвинению в неповиновении перед лицом неприятеля.

Родригес побелел, как полотно, зная, чем это может кончиться.

Увидев, что со мной шутки плохи и что тут не помогут ни крест, ни проклятия, инквизитор впал в отчаяние. Он еще раз приказал палачу зажечь костер, но тот, не будучи в таком гневе, как достопочтенный отец, отказался. Его ремесло приучило его быть осторожным.

Зная, что испанское управление, кто бы ни был во главе его, отличается твердостью, он прекрасно понимал, что жизнь его пропадет ни за грош, если он исполнит распоряжение монаха, вопреки моему приказанию. Вооруженная-то сила была у меня, а не у отца Бернардо, и потому он не тронулся с места.

Видя это, доминиканец вырвал из его рук горящую головню и бросил ее в сучья, наваленные около мадемуазель де Бреголь. Посыпались искры, и через секунду она была объята пламенем с головы до ног.

Я предвидел это. Пришпорив лошадь, я, сам не знаю каким образом, вскочил на эшафот. В два прыжка я очутился у столба и шпагой разбросал загоревшиеся уже ветви. Они едва горели, отсырев на утреннем тумане, но связка хвороста, брошенная в середину костра, занялась и зажгла рубашку осужденной,

составлявшую ее единственное одеяние. Ветер, дувший сзади, внезапным порывом увлек тонкое полотно навстречу пламени, которое уничтожило его в одну минуту. Горящие клочья разлетелись по площади, как огненные языки, оставив ее обнаженной перед всеми зрителями. Она осталась невредимой.

Остатки рубашки спали с нее, и сильный порыв ветра потушил пламя. Ее густые волосы одни прикрывали теперь ее наготу и развевались по ветру.

Вдруг произошло чудо – чудо для тех, кто верит в чудеса. Минуту я стоял перед ней в полном оцепенении, ибо никогда мне не приходилось видеть до такой степени совершенной фигуры. Несмотря на то, что ее пытали жестоко, на ее теле пытка не оставила никаких следов. Руки и ноги ее были связаны веревками. С минуту я против воли не мог отвести от нее глаз, потом быстро сорвал с себя плащ и, накинув ей на плечи, обрубил шпагой веревки.

Мадемуазель де Бреголль не промолвила ни слова. Чувствуя свою наготу, она гордо смотрела на толпу. Потом ее взгляд встретился с моим, и какое-то странное выражение мелькнуло в нем.

Сзади меня в толпе начался сильный шум. На площади слышались крики. Пусть они кричат, ведь такое зрелище им приходится видеть не каждый день. В Голландии не часто бывает, что жертва, уже возведенная на эшафот, ускользает от смерти, и, пожалуй, кто-нибудь даже разочаровался, простояв здесь так долго.

Я повернулся лицом к монаху. Он бросил мне вызов и проиграл свою игру. Если когда-нибудь лицо человека походило на дьявольское, то это было именно теперь. Он поднял руку с крестом, и я видел, что он хочет призвать на мою голову проклятие, проклятие самое страшное, которое когда-либо изрыгали монашеские уста.

Что касается меня, то я готов был отнестись ко всему этому как к шутовству. Но никогда нельзя знать, какое действие произведет подобная сцена на настроение толпы. В мои расчеты не входило отпустить его с площади триумфатором, находящимся под покровительством церкви, которая может осуждать всех, но сама защищена от всяких осуждений.

– Слушайте, дон Бернардо Балестер, – сказал я тихо, но явственно, – если вы вздумаете поднять руку и произнести какое-нибудь проклятие, я истерзаю вас в куски на дыбе, применять которую умею лучше, чем вы, быть может, думаете. Не воображайте, что эти черные и белые лохмотья на теле устрашат меня. Мне случалось делать еще и не такие дела, как пытаться какого-то монаха. Вам никто не давал полномочий, и ссылка на них не защитит вас.

При этих словах подошел фон Виллингер со своими людьми.

– Вы совершенно в моей власти. Это лютеране, и половина моего отряда состоит из них. Если вы не покоритесь мне немедленно, то, клянусь небом, я велю рвать вас на куски, и пока ваши друзья услышат о вашей судьбе – если только услышат, – ваш труп будет гнить в склепах Гертруденберга.

Мой тон, очевидно, испугал его. Кровь бросилась мне в голову, а когда я в гневе, то, говорят, в моих глазах есть что-то страшное. И видит Бог, я сдержал бы слово. После того что я уже сделал, остальное было пустяком. Рука монаха бессильно опустилась.

– Вы обещаете отпустить меня, не причинив вреда? – пробормотал он.

– Я обещаю пощадить вас, если вы немедленно будете повиноваться. Не больше. Этого довольно.

Он взглянул на меня с яростью, но опять опустил глаза перед моим взглядом.

– Что вы хотите со мной сделать? – спросил он.

– Это вы услышите потом. Герр фон Виллингер, вы будете сопровождать почтенного отца до его жилища. А то народ может забыть, что даже грешный монах пользуется привилегиями своего сана. Поэтому мы должны караулить его в его комнате впредь до дальнейших распоряжений. Вы отвечаете мне за его сохранность.

Когда я шел обратно, я по-немецки шепнул Виллингеру:

– Не позволяйте ему видаться ни с кем. Не давайте ему возможности написать ни строчки и не позволяйте посылать никаких вестей. Вы знаете короля и понимаете, что я вручаю вам свою судьбу. Пусть он хорошенько попостится, это будет ему на пользу.

– Не беспокойтесь, дон Хаим, – отвечал немец. – Я стряпать для него не буду. Мне все это представляется иначе, и я польщен вашим доверием.

Когда я сошел с эшафота и хотел сесть на лошадь, народ ринулся ко мне, выражая свою радость громкими криками. Женщины и дети осыпали меня благодарностями... и старались целовать мои руки. Мадемуазель де Бреголль, казалось, пользовалась любовью среди женщин – вещь довольно редкая.

– Я не заслужил ваших благодарностей, – сказал я. – Я только совершил правосудие. Довольно благодарностей, – строго сказал я бургомистру. – Отведите эту женщину домой, и пусть там за ней будет уход, которого требует ее состояние. Она должна оставаться под строгим присмотром, так чтобы никто из ее друзей не имел к ней доступа. Ответственность за исполнение моих приказаний я возлагаю на вас.

Бургомистр важно поклонился.

– Ваше приказание будет исполнено. С остальными двумя осужденными поступать таким же образом?

– Конечно, конечно.

Я совсем забыл о них. Мне было решительно все равно, отправятся ли они на тот свет теперь, или потом. Да им, истерзанном на пытке, по-видимому, тоже было все равно.

Бургомистр поклонился вторично и, подозвав одного из своих подчиненных, о чем-то стал с ним совещаться.

– Больше не будет каких-либо приказаний? – спросил он.

– Нет, никаких.

– В таком случае позвольте мне просить вас пожаловать в городскую ратушу принять ключи от города и приветствие от городского совета. Я буду счастлив, если после этого вы сооблаговолите посетить мой скромный дом, чтобы отдохнуть с дороги.

– Благодарю вас. Я не премину быть у вас. А теперь едем!

Бургомистр выступил вперед и стал кричать:

– Дорогу, расступитесь! Дайте дорогу губернатору города!

Толпа медленно расступилась, и впереди нас оказалось достаточное пространство, чтобы мы могли тронуться в путь. Все время, пока мы двигались между двумя живыми стенами, не прекращался громкий крик:

– Да здравствует дон Хаим де Хорквера! Я остановился и крикнул:

– Благодарю вас, добрые люди! Не кричите: «Да здравствует дон Хаим», а кричите: «Да здравствует король Филипп!» Поверьте, король ищет справедливости. Он не хочет, чтобы в его владениях были еретики и ведьмы. Их никто не потерпит в христианском государстве, и их нужно жечь. Но он хочет, чтобы их жгли за дело. Поэтому кричите: «Да здравствует король Филипп!»

– Да здравствует король Филипп! – закричали они, хотя и не с прежним энтузиазмом.

Я и не подозревал, что приобрести популярность так легко. Еще удивительнее было то, что я сделал популярным короля Филиппа, – вещь, которую не всякий испанский губернатор решится проделать в Голландии.

Это показывает, как легко можно было бы управлять этой страной, в которой пролито столько крови. Если б только в Мадриде взялись за ум! Но попробуйте поговорить с попами. Я рад, что они не слышали этих криков, сидя в Испании. Иначе они положили бы конец моей карьере.

Когда часа через два я шел вместе с бургомистром к нему в дом, в городе царила полуденная тишина. Улицы были безмолвны и безлюдны. Воздух стал

мягким, и в отдалении стлался мягкий туман, блестящий, свойственный северной осени. Пройдя ряд узких переулков, мы вышли на широкий канал. На нас хлынул поток света. Деревья, листья которых уже покраснели от утренних заморозков, стояли как в огне. Дальний изгиб канала пропадал в синеватой дымке тумана.

На улицах уже чувствовалось холодное дыхание приближавшей зимы, но здесь солнце еще излучало тепло. В садах, доходивших до самого канала, еще цвели последние цветы – темная мальва и светлая вербена, и между ними носились туда и сюда пчелы, забывшие о времени года. А надо всем этим было сияющее небо – теплых, густых тонов на горизонте. Совсем не похоже на ту золотистую пыль, которой покрыта далекая Кордова. Красиво, впрочем, не менее.

Октябрьское солнце весело врывалось сквозь граненые окна в дом бургомистра ван дер Веерена. Широкими пятнами зеленого золота ложились его лучи на пол комнаты, в которую мы вошли. Я не успел ничего рассмотреть, так как, заслонив свет из окна, с кресла поднялась женщина и двинулась нам навстречу. Когда свет упал на ее лицо, я едва удержался, чтобы не вскрикнуть от изумления – так она была похожа на мадемуазель де Бреголь.

Между ними, конечно, было и различие, и прежде всего в наряде. Черные, как и той, волосы были подобраны в золотую сетку, облечена она была в костюм черного бархата. А ведьму я видел без всяких одежд, с одной веревкой на ногах и руках. У этой была такая же изящная фигура, но властная осанка, хотя она была, кажется, меньше ростом. Обе были совершенно не похожи на женщин, которых обыкновенно встречаешь в Голландии. Но между той, которая была на эшафоте, и этой, которая теперь стояла передо мной, была еще какая-то разница, которую я скорее почувствовал, чем заметил при первой встрече.

Голос моего хозяина прервал мои размышления.

– Это моя дочь, сеньор, – сказал бургомистр. – Изабелла, это дон Хаим де Хорквера, граф Абенохара, назначенный губернатором нашего города. Ему подчинен весь город, мы сами и весь наш дом. Благодарю его за честь, которую он оказал нам своим посещением.

Девушка с достоинством поклонилась и сказала:

– Я слышала о вашем поступке, сеньор. Город только об этом и говорит. Губернатор, который освобождает осужденного, хотя и несправедливо, за ведовство, – большая редкость и действительно заслуживает благодарности. Приношу вам мою величайшую благодарность.

Она присела. В ее голосе слышалась, однако, ирония.

– Прошу ваше превосходительство извинить мою дочь за болтливый язык. Она еще очень молода, и я боюсь, что избаловал ее. К тому же ни судьба, ни мы не были к ней суровы, – продолжал бургомистр, бросая на дочь нежный взгляд. – В городе стало было накапливаться озлобление, но ваше прибытие рассеяло это чувство.

– Я не знаю, разве я сказала что-нибудь неуместное, папа? – смиренно спросила молодая девушка. – В таком случае я очень жалею об этом. Извините меня, сеньор.

Она положительно умна и смела.

– Извинять вас нет никакой надобности, синьорина, – отвечал я.

Мы говорили по-испански – на языке, которым и она, и ее отец владели в совершенстве. В то время многие говорили на этом языке в Голландии. Это ведь был язык господ, и знание его могло иной раз спасти жизнь.

– Вы не сказали ничего, как вы выразились, неуместного. Поверьте, – прибавил я, обращаясь к отцу, – что после покорности, которую мне всячески изъявили, встретиться с независимым настроением большое удовольствие, особенно когда эту независимость провозглашают такие прелестные уста, – закончил я с поклоном.

– А мне казалось, что испанские губернаторы меньше всего любят это в наших голландских городах.

– Далеко не все. Что касается меня, то я люблю эту независимость хотя бы потому, что могу сломить ее.

Ее глаза скользнули по мне, но, прежде чем она успела возразить, вмешался отец:

– Вместо того чтобы задерживать нашего гостя пустыми разговорами, покажи лучше его комнату. Ему пришлось совершить сегодня утром длинный переезд, и его превосходительство, без сомнения, захочет немного отдохнуть, прежде чем мы сядем за стол.

– Як вашим услугам, – с поклоном сказал я.

– Попрошу вас следовать за мной, сеньор. – Она пошла впереди меня вверх. Две служанки шли сзади нас, чтобы принести и сделать все, что будет нужно.

Она шла впереди меня легко и грациозно. Косые лучи солнца падали на ее прекрасное лицо, когда она поднималась по винтовой лестнице. Наконец мы дошли до отведенной мне комнаты – прелестного помещения с длинными и низкими окнами, через которые врывались ароматы сада, перемешиваясь с запахом цветов, стоявших на окне.

Не раз приходилось мне ощущать этот уют, который отличает жилища в этой стране. Но сегодня я чувствовал что-то особенное и в этом безукоризненном постельном белье с дорогими кружевами по краям, в блестящем хрустале на полках, а главное – удивительное благоустройство, которое я ощущал более чем когда-либо. В этих голландских домах, отделанных темным дубом, удивительно уютно, а значит и в таком скверном климате человек может сделать свою жизнь приятной. Даже зимой, когда на дворе снег и туман, там гораздо теплее и удобнее, чем в моем родовом замке в Сиенне Моренье, хотя там лучи солнца жгучи с утра до ночи, а из окон глаз охватывает всю золотистую равнину, по которой катит до Севиль свои волны Гвадалквивир.

Я хорошо помню, как стонал ветер, врываясь в окна, и как я думал о том, сколько богатства в этих небольших темных голландских домах. Но в наших голых, неуютных стенах где-нибудь в Новой Кастилии выросли люди, которые покорили весь свет, а здесь жил народ, который был завоеван. Но когда я следил за ее движениями, видел, как ее белые руки ловко и бесшумно ставили вещи на места, мне пришло на ум, что это тихое и красивое спокойствие тоже чего-нибудь да стоит.

Спокойствие! На что оно мне? Мы, герцог и все его наместники, посланы за тем, чтобы поднять меч. Сегодня утром я купил свое право на этот час спокойствия и, может быть, слишком дорогой ценой. Но я знал, что это не может долго продолжаться, и, как бы для того, чтобы нарушить охватившее меня очарование, заговорил:

– Вы, очевидно, не особенно лестного мнения об испанских начальниках, синьорина, а тем более обо мне, хотя я со времени прибытия в Гертруденберг, кажется, не давал поводов к этому и, может быть, дал повод порицать мадридское правительство, но только не вам.

Она повернулась и взглянула мне прямо в лицо.

– О нет, сеньор, – ответила она и опять стала смотреть в сторону. – Вы совершили подвиг и, как вы сами сказали, только из чувства справедливости. Бедная Марион! Я бы хотела знать, как она себя чувствует теперь, после того как она уже приготовилась к смерти! Теперь она вдруг вернулась к жизни и, будем надеяться, не станет в этом раскаиваться.

Что она хотела этим сказать? Я едва верил своим ушам. Смысл ее речи был и темен, и в то же время ясен. Ее тон и манера говорить дополняли то, что осталось не сказанным. У меня было такое чувство, как будто она ударила меня по лицу. Ведь она почти прямо сказала, что я спас донну Марион только для того, чтобы принести ее в жертву себе самому. Клянусь Богом, эта мысль ни разу не приходила мне в голову. Мой гнев и удивление на несколько минут лишили меня дара речи. Эта девушка, эта голландка смеет говорить со мной таким образом!

Я понимал, что она могла так говорить. Пять лет беспощадного угнетения довели голландский народ до отчаяния. Немало за это время было совершено жестокостей, ответственность за которые падает на многих. Естественно, ей могла прийти в голову такая мысль. Но как она решилась высказать ее мне в лицо! Мне, в руках которого была жизнь и ее и ее отца! Я ненавижу быть резким с дамами, но тут был исключительный случай. Как необычны были ее слова, так же необычен и откровенен был и мой ответ.

– Сеньорина, – сказал я, – ваши слова довольно странны. Я не знаю – я много лет не был здесь – не вошло ли в обычай в этой стране оскорблять своих гостей. Но в

Испании этого не делается, и я к этому не привык. Поэтому позвольте мне оставить ваш дом, извинившись за беспокойство, которое я вам доставил.

Я поклонился и пошел было назад. На этот раз она действительно испугалась или, по крайней мере, сделала вид, что испугалась.

– Извините меня, сеньор, я против своей воли сделала вам неприятно. Сегодня для меня неудачный день. Прошу вас остаться у нас, хотя бы для того, чтобы не наказывать моего отца за мои безрассудные слова.

– Когда женщина просит извинения, то извинение готово, прежде чем она кончит говорить. Но будьте осторожнее, синьорина. В каждом человеке два существа – хорошее и дурное. Можно вызвать в нем то или другое, смотря по тому, до какой струны дотронешься. Смотрите, чтобы никогда не задевать дурной струны.

– Постараюсь, сеньор, – гордо отвечала она, принимая прежний тон. – Вот прибыл ваш человек с вещами. С вашего позволения я вас теперь покину. Если вам что-нибудь понадобится, прошу распоряжаться в этом доме, как в своем собственном.

И, произнеся эту сакраментальную испанскую формулу, означающую приветствие, она, поклонившись, прошла мимо меня с тем же надменным и высокомерным видом.

Таков был первый час, проведенный мной в этом доме, и я кисло улыбался, воображая, что будет дальше. Мой час спокойствия длился недолго, и это, пожалуй, было лучше.

Пока мой человек снимал с меня доспехи, я продолжал размышлять о том, что случилось. Все слагалось как-то странно. Все покорялось моей воле. Я вырвал у церкви ее жертвы и сокрушил ее сопротивление – вещь неслыханная. С другой стороны, народ, на который я был послан наложить силой ярмо, приветствовал меня, как своего избавителя. Приветствовали даже короля Филиппа. Мне стало смешно. Я помню еще то мрачное молчание, с которым встретили его прощение в Антверпене три года назад.

Да, опоздай я на полчаса, все было бы кончено. Мадемуазель де Бреголь уже нельзя было бы помочь ничем, или же, если бы народ вздумал броситься на эшафот, я против воли должен был бы помочь ее сжечь.

Я или судьба сделали все это? Я всегда думал, что человек создает свою судьбу с помощью своего меча и ума, но так ли это? Раз или два мне казалось, что сильная воля способна совершить даже невозможное. Странно, что вызывающим тоном впервые говорит со мной слабая девушка и притом в ее доме, где я имел бы право найти приветливость и ровность обращения. Но я согну или даже переломлю ее.

– Какой костюм прикажете вынуть, сеньор? – вывел меня из задумчивости голос моего слуги Диего.

– Черный, – рассеянно сказал я. – Диего, что ты думаешь о происшествии сегодняшнего утра?

Диего – солдат, прошедший тяжелую школу, но он ухаживает за мной, как едва ли могла бы ухаживать любая женщина. Он слепо повиновался бы всему, что я ему прикажу. Он родился в Пиренеях, недалеко от гугенотской Наварры и, по-видимому, сам гугенот, хотя и посещает мессу самым аккуратным образом. О его прошлой жизни мне ничего не известно. По-испански он говорит хорошо, хотя и не испанец. Несколько лет тому назад я подобрал его на дороге, умирающего от ран, усталости и голода, и с тех пор он привязался ко мне, как верный пес. Он никогда не распространяется о том, что с ним было, а я его об этом не расспрашивал. Однажды он, впрочем, рассказал мне какую-то длинную историю, в которой я не верил ни одному слову. Я находил его полезным для себя, и мне не хотелось ради удовлетворения своего любопытства лишаться его услуг.

– Все это было очень интересно, сеньор, – отвечал он на мой вопрос. – Мне было очень приятно видеть все это. Но это опасно. Берегитесь этого монаха, сеньор. В Наварре есть поговорка: «Не давай ожить оглушенной змее. Когда она очнется, она делается вдвое опаснее».

– Ваши горцы – народ умный, Диего.

– Им приходится быть умными, сеньор. Жизнь на границе не всегда протекает безопасно.

Спустившись вниз к обеду, я нашел ван дер Веерена и его дочь, которые ждали меня. Мы прошли в столовую – длинную, просторную комнату. Стены ее были отделаны панелями, а потолок резным дубом. Столовая, как и все в доме, имела солидный и великолепный вид. Ее, очевидно, строили поколения богатые и любившие искусство. Стол был покрыт тонкой скатертью и уставлен дорогим серебром. Графины были из драгоценного венецианского хрусталя. Комната освещалась мягко и не особенно ярко, благодаря тому, что была невысока, а стены были отделаны темным дубом. Лучи осеннего солнца, врываясь в окно, играли на посуде и хрустале. Велика была разница между огромной, открытой площадью с раздраженной толпой, теснившейся вокруг эшафота, между страшным напряжением последних минут утренних событий и этой уютной тишиной, и хотя я старый бродяга, привыкший уже к быстрой перемене места действия, но на этот раз и я почувствовал эту перемену. Через открытые окна волной вливался из сада аромат цветов, снаружи мягко жужжали насекомые, а донна Изабелла, сидевшая рядом со мной, казалось, готова была исполнить мое малейшее желание. В ответ на замечание, сделанное мной час тому назад, она, видимо, хотела показать, что умеет исполнять обязанности хозяйки.

Она переменила свой туалет – желал бы я знать по своему собственному побуждению или по настоянию своего отца. На ней было платье из светло-голубого бархата, открывавшее шею, не менее красивую, чем у мадемуазель де Бреголь. Только у нее был более темный цвет кожи. Хотя она была более хрупкого сложения, но сходство их очень бросилось мне в глаза. Вероятно, я скоро узнаю его причину.

Теперь я никак не могу жаловаться на ее обращение. И она, и ее отец безукоризненно исполняли обязанности гостеприимных хозяев и притом с таким достоинством, что не уступали любому испанскому гранду. И мне опять приходилось удивляться тому, что здесь, в маленьком городке на окраине Брабанта, я нашел дом, обитатели которого не посрамили бы и придворное общество. Мне было известно, что торговые короли Аугсбурга или Антверпена живут действительно по-королевски, но я не ожидал встретить такого короля здесь.

Впрочем, я припомнил, что раз или два слышал о богатстве ван дер Веерена, но, не будучи поклонником денег, не обратил на это внимание. Я не богат, но могу жить без всяких субсидий от членов фламандских гильдий. Теперь я припомнил все, что слышал раньше о ван дер Веерене, и это отчасти объяснило мне высокомерный задор его дочери. Нет сомнения, что им уже не однажды

приходилось покупать свою безопасность, и в девушке укоренилась мысль, что они все могут сделать благодаря своему богатству. Разве она не в состоянии предложить денежное вознаграждение за каждое оскорбление? Однако найдутся люди, которых нельзя купить – деньгами по крайней мере.

Очевидно, у ван дер Веерена были уважительные причины поселиться в этом городке, который для них, вероятно, кажется лачугой после Брюсселя и Антверпена. Мне кажется, что я могу угадать эти причины. Одно только обстоятельство сбивало меня с толку. Многие вещи в их доме напоминали мне об Испании, и я убежден, что у моего хозяина течет в жилах частичка и испанской крови. Правда, донна Изабелла, по-видимому, недолюбливает нас, но это ничего не доказывает.

– Позвольте спросить, – заговорил я, – были ли вы когда-нибудь в Испании? Вы отлично говорите по-испански. Хотя всякий, кто исправляет какую-нибудь общественную должность, и обязан знать оба языка, но ваш выговор – ваш и донны Изабеллы – до такой степени чист и вы так хорошо знакомы с испанскими обычаями, что было бы положительно чудом встретить это в человеке, который никогда не видал солнечной Кастилии или в жилах которого нет испанской крови.

– Вы правы в последнем случае, сеньор. Моя мать, Изабелла де Германдец, была родом из Вальдолиды. Она всегда помнила обычаи и язык своей родины и научила своих детей ценить то и другое. Хотя и не стыжусь быть голландцем, но часто мечтаю о том, что хорошо бы и нам иметь свойства, которыми наделены вы, – умеренность, народную гордость и безмерную смелость, которые сделали вас владыками мира.

Я поклонился в ответ на этот комплимент и отвечал:

– У каждого народа свои добродетели. Я всегда думал о том, какие блестящие результаты могли бы получиться, если бы обе нации мирно слились. Но времена этому, кажется, не благоприятствуют.

Мы продолжали говорить на эту тему, обменявшись парой взаимных комплиментов. Заметив, что луч солнца бьет мне прямо в лицо, донна Изабелла велела служанке спустить штору. Она говорила с ней довольно тихо и на местном жаргоне, тем не менее я хорошо понял ее слова.

– Не беспокойтесь, пусть солнце светит свободно, – сказал я по-голландски, – если только оно не беспокоит вас или вашего отца. Нам осталось немного солнечных дней, и мне приятно чувствовать солнечное тепло на лице.

Я сказал это отчасти искренно, отчасти нарочно. Не желая знать ее секретов, я хотел дать ей понять, чтобы она не говорила обо мне в моем присутствии все, что ей захочется.

Она взглянула на меня с изумлением, потом, приказав служанке оставить штору по-прежнему, обратилась ко мне:

– Вы отлично говорите по-голландски, сеньор. Даже наш жаргон – не секрет для вас. Не многие из ваших соотечественников сделали такие успехи. Не многие из них сочли бы награду достойной их трудов.

– С моей стороны тут и трудов почти не было. Я сам наполовину голландец. Мои испанские титулы достались мне от матери. Мой отец был испанцем только наполовину. Хотя я родился здесь, но воспитывался в Испании и теперь стал более испанцем, чем голландцем. За вашим столом, впрочем, со мной делается обратное превращение, и я чувствую в эти минуты, что одинаково принадлежу обоим народам, – закончил я с поклоном.

На это донна Изабелла как бы проронила несколько слов, от которых кровь бросилась мне в голову.

– Голландец и на иностранной службе! Непонятно!

– Изабелла! – вскричал отец.

– Сеньорита, – спокойно отвечал я, – если тут есть что-нибудь непонятное, то только для меня. Я служу королю Филиппу, нашему общему государю.

– Мы все делаем то же самое, дитя мое, – вмешался ван дер Веерен. – Ты женщина, поэтому этого не понимаешь. Извините ее, сеньор.

– Охотно, – отвечал я. – Женщины пользуются привилегией говорить все, что им вздумается.

– И это всегда, сеньор? – тем же подозрительным тоном заговорила она, опустив глаза.

– Всегда, сеньорита. Есть речи, которые мужчине могут стоить жизни.

– А женщине?

– А женщине это, конечно, сходит с рук, – отвечал я, смеясь.

– Вы вернули мне чувство безопасности, сеньор. Я было думала... впрочем, вы успокоили меня.

– Извините, я опять не понимаю вас, – холодно возразил я. – Вы говорите загадками.

Я, конечно, отлично понимал ее, и, клянусь Богом, если она будет так продолжать, то когда-нибудь ее опасения окажутся справедливыми. Ее отец глядел на нее со страхом; но он не мог подавить вспышек южного темперамента, что был присущ ей. Хотя я и был рассержен на нее, но ее мужество и высокомерное обращение действовали на меня подкупающим образом, точно так же, как ее красота и странная манера держать себя.

– У окружающих меня я пользуюсь репутацией большой мастерицы загадывать загадки. Когда я была молоденькой, я сама выдумывала их для своих сверстников. Позвольте же мне и теперь предложить их губернатору его Величества короля Филиппа. Не угодно ли вам будет сначала попробовать этого вина, – продолжала она, вдруг изменяя тон и манеру. – Этот виноград вырос, правда, не в Испании, а на Рейне, но, говорят, он отличается удивительными качествами. Может быть, он поможет вам разрешить загадки, если вы пожелаете.

– Попробую, сеньорита, если это не будет стоить безопасности мне... и вам, – прибавил я тихо, так что могла слышать только она.

Я поднял свой стакан:

– За ваше здоровье. И да здравствует Голландия и Испания, – прибавил я по-голландски. – При таком тосте все мы можем выпить, думая каждый о своем народе.

Обед кончился, но мы все еще сидели за столом перед стаканами с золотистым вином. Солнце медленно уходило от окон. В комнате стало темнее, и белая грудь донны Изабеллы казалась еще прекраснее на фоне сгущавшихся сумерек. Кругом стояла глубокая тишина, казалось, жизнь остановилась на мгновение. Но судьба была предначертана и именно теперь предрекала беспокойство и борьбу. Впрочем, так и должно быть: каждый миг диктует нам свои требования, и надо уметь принимать их разумно и сознательно.

– Мин хер, – обратился я к своему хозяину после паузы, – надо окончательно уладить дело мадемуазель де Бреголь, и я хотел бы предложить вам несколько вопросов.

В эту минуту, очевидно, по знаку, данному отцом, донна Изабелла поднялась и сказала:

– Мне, вероятно, лучше оставить вас, сеньор, пока вы будете говорить о таких важных вещах.

Но у меня были причины желать, чтобы она осталась.

– Вы доставите мне удовольствие, сеньорита, оставшись здесь, если, конечно, это не будет вам неприятно. Дамы часто замечают вещи, которые ускользают от нашего грубого понимания. Может быть, вы окажетесь нам полезны. Мадемуазель де Бреголь водворена к себе? – спросил я бургомистра.

– Она ждет приказа вашего превосходительства. Дом ее охраняется, она к вашим услугам.

– Я надеюсь, что с ней обращаются, как подобает ее положению, которое, судя по ее лицу и имени, не из последних?

– Она двоюродная сестра моей дочери. Ее отец и моя жена – близнецы. Они – французы, но давно уже поселились в Голландии. Я уверен, что вы заметили ее

сходство с моей дочерью.

– Это правда. Сходство поразительное. Я вдвойне рад, что прибыл вовремя и мог спасти ее. Я хотел бы освободить ее совсем, так как не верю в ведьм, по крайней мере, в том смысле, в каком это понимает отец Бернардо. По-моему, она виновна только в том, что слишком красива. Но я должен объяснить вам свое положение. Пока я управляю здешним городом, моя воля – закон. Ваш город подозревается в приготовлениях к мятежу, и я послан подавить его. Для этого выбрали меня, потому что я пользуюсь репутацией человека беспощадного, когда нужно. Моя власть ничем не ограничена. Кого я возьму под свою защиту, тот будет в полной безопасности; кого же я захочу погубить, тот погиб.

Лица моих слушателей несколько побледнели, пока я говорил. Я готов ручаться, что донна Изабелла была в полной уверенности, что теперь-то я и выпускаю когти из-под своего бархатного одеяния. Но все это им нужно знать.

– Но меня могут отозвать, и тогда все то, что я сделал утром и что, как вы изволили совершенно верно заметить, сеньорита, представляется в высшей степени редким поступком, может вызвать удивление в Брюсселе и Мадриде. Я назвал монаха обманщиком. Что ж, я этого отрицать не буду. Но если он не таков, то на имени осужденной непременно останется пятно и впоследствии процесс может открыться вновь. Для того чтобы предотвратить это, я должен иметь доказательства ее невиновности и злостного обвинения ее инквизитором. Мы, то есть я и вы, можем догадываться, в чем тут дело, но этого недостаточно. Известно ли вам о каких-либо фактах?

– Все, что мне известно, едва ли можно назвать фактами. Инквизитор не позволял мне переговорить ни с Марион, ни с ее служанкой, с тех пор как они обе подверглись заключению. На это он, конечно, имел право. Но я уверен, что, если дело возникнет вновь, она будет выслушана, будут вызваны опять все свидетели, и тогда ее невиновность станет ясна.

– Может быть. Но это будет длинная процедура, а я не люблю ждать. Я отправлю донесение завтра утром, а там посмотрим. В чем, собственно говоря, она обвинялась?

– В ереси и в колдовстве, – медленно промолвил старый бургомистр.

– Ересь? Это, пожалуй, еще хуже, чем колдовство! Я уверен, что обвинение было неосновательно.

Я знал почти наверно, что они все были реформатского вероисповедания, но не хотел, чтобы они открыли мне эту тайну.

– Единственная причина ее несчастья заключалась в ее красоте и добродетели, – отвечала донна Изабелла, гневно блеснув глазами.

Как, однако, свободно она говорит о подобных вещах! Монахи и инквизиция многому научили женщин.

– Изабелла! – воскликнул ее отец.

– Не бойтесь, я не принадлежу к числу ханжей. Я думаю, что я доказал это сегодня утром.

– Это правда. Инквизитор, впрочем, не настаивал на обвинении в ереси. По крайней мере, я не слышал потом об этом ничего, иначе я сделал бы нужные шаги, чтобы спасти ее. В окончательном приговоре она была объявлена виновной в колдовстве и предана в руки светских властей. А это значило эшафот.

Теперь мне стало все ясно. Сначала почтенный отец поднял обвинение в ереси, но, сообразив потом, что весь город заражен ею и что сжечь всех нельзя, он благоразумно отбросил эту часть обвинения и ухватился за ведовство, которое, по его расчетам, затронет любопытство многих. Ведь протестанты также любят посмотреть при случае, как жгут ведьму.

– Мы знали, что процесс велся не совсем правильно и не по закону, – продолжал бургомистр. – Он не выставлял объявления о суде, при нем не было ассистента, как вы сами изволили указать. Мы знали, что совет может отменить этот приговор, но мы не смели действовать. Иначе мы пришли бы к столкновению с сеньором Лопецом и его гарнизоном. Если бы правительство не признало наших соображений и приняло бы сторону инквизиции, как случается довольно часто, то на наш город могло бы обрушиться страшное мщение.

– В чем же, собственно, ее обвиняли?

– Позвольте объяснить вам все, сеньор. Месяц назад в нашем городе была оставлена какими-то бродягами маленькая девочка – француженка. Она заболела, и ее не захотели взять с собой. Марион сжалась над ней, потому что она была бедна и бесприютна, и взяла ее к себе с намерением отправить во Францию, когда она подрастет. Девочка отличалась странным, возбужденным поведением, и некоторые думали, что она одержима нечистой силой. На самом деле она была совершенно безвредна. Нет сомнения, что инквизитор видел ее или слышал о ней. Однажды, когда Марион не было дома, к ней явились его люди и взяли девочку. Я не могу вам в точности сказать, как все это было, но девочка вырвалась и прибежала домой. Через два дня Марион была заключена в тюрьму, и на нее было возведено обвинение в колдовстве. Сначала инквизитор не был, по-видимому, так вооружен против нее и обещал освободить ее, если найдет ее невиновной. Что касается доказательств против нее, то, как я только вчера узнал, они были обычного типа: порча воды в колодцах, следы копыт на полу ее комнаты, кто-то даже сказал, что видел, как она летела по воздуху. Когда я возражал, что в тот вечер, о котором шла речь, Марион была с нами, инквизитор стал объяснять мне, что ведьмы могут быть видимы одновременно в двух местах: ведьма идет по своим делам, а дьявол садится на ее место, принимая ее облик. Хуже всего было то, что у одной женщины вдруг умер ребенок, который только что был совершенно здоров и до которого дотронулась Марион. Соседи говорили мне, что ребенок этот наелся сырых слив. Большинство было уверено в том, что он умер не от прикосновения Марион. Она ведь родилась здесь, и все ее знают, хотя она несколько лет жила с нами в Брюсселе. Она добрая девушка, которую все любят. В народе началось волнение, и слава Богу, что вы прибыли вовремя, сеньор. Не случись этого, я не могу сказать, что могло произойти.

– Слава Богу, что все произошло так. Проявись малейшая попытка к бунту, мы были бы вынуждены поддержать авторитет короля и церкви, и обвиняемая была бы сожжена. Горожане не спасли бы ее, ибо я смел бы их с площади, как пыль.

– Не очень-то вы церемонитесь с нами, бедными голландцами, – вставила донна Изабелла.

– Я говорю только о том, что могло бы быть, не вкладывая в свои слова ни похвалы, ни порицания.

– Ты не понимаешь таких дел, дитя мое, – строго сказал ван дер Веерен. – Дон Хаим прав! Он бы это сделал.

– Вернемся к делу. Вам известны имена главных свидетелей?

– Да, сеньор. Инквизитор сообщил мне их в виде особой любезности, желая, очевидно, показать, что он ведет дело вполне основательно. Свидетелями выступили некоторые зажиточные и уважаемые женщины, хотя говорят, что это были...

Он, видимо, подыскивал слово. Я помог ему:

– Подкупленные свидетели. Доносчики инквизиции?

– Вы сами употребили это выражение, сеньор, а не я.

– Да, я употребил его. Их имена?

– Анна ван Линден и Бригитта Дорн.

Я вынул свою записную книжку и заглянул в нее.

– Они не значатся у меня в списке, и это очень хорошо. Иначе с ними трудно было бы иметь дело. Но это только показывает, как легко осудить невинного человека. Здесь у меня записаны имена двух-трех достойных доверия лиц, которые живут в вашем городе и доставляют сведения об еретиках во славу Божию и для охранения Его царства. Этих двух между ними нет. Они больше не причинят вреда. Но на вашем месте я бы не забывал, что остаются другие. К сожалению, я должен сказать, что этот народ не особенно сокрушается об ошибках, которые ему иногда приходится делать.

Мой хозяин и его дочь удивляли меня. В самом деле, как они могли жить здесь в постоянной опасности, как они могли сидеть здесь сложа руки? Вероятно, они надеялись на свое богатство. Но я уверен, что в данном случае они не жалели денег, и тем не менее это им не помогло.

Может наступить день, когда и белое тело донны Изабеллы будет вздернуто на дыбу, как это произошло с ее двоюродной сестрой, если этого захотят те, кто здесь властвует.

Как будто угадав мои мысли, она сказала:

– Мы отлично сознаем опасность, сеньор, но надеемся на вашу справедливость.

Так ли это? Действительно ли она видела только справедливость сегодня утром?

– Благодарю вас, сеньорита. Но ведь я могу уехать отсюда, как я уже говорил. И я не стал бы слишком полагаться на справедливость. Это вещь обоюдоострая, и все зависит от того, с какой стороны вы на нее посмотрите. Во имя справедливости совершено было изумительное дело. Я запишу оба имени, которые вы мне сообщили. Не можете ли вы сообщить мне еще что-нибудь?

– Сначала я и подумать не мог, чтобы все это кончилось так, – сказал ван дер Веерен. – Меня уведомили о вынесенном приговоре только вчера вечером. Мы, то есть я и городской совет, сделали все возможное, чтобы смягчить инквизитора, но он и слышать ничего не хотел.

– А вы, сеньорита, не можете ли что-нибудь сообщить мне.

– Очень немного. Марион как-то говорила мне, что ей не нравятся манеры и разговоры этого инквизитора. Больше она мне ничего не говорила, а я не передавала этого разговора отцу. Нам ведь нередко приходится слышать от духовных лиц такие слова, о которых лучше забыть.

К сожалению, это правда. Происходит это оттого, что мы делаем из каждого монаха, каждого священника нечто большее, чем просто человека со всеми его слабостями. Если еретики желают изменить такой подход, то, мне кажется, их нельзя за это порицать.

– И это все, что вам известно? – спросил я.

– Все, сеньор!

Действительно немного. Но я был уверен, что самые интересные вещи мне предстоит узнать от самой Марион.

– Господин ван дер Веерен, благоволиите уведомить мадемуазель де Бреголль, что я желал бы ее видеть и прошу ее пожаловать сегодня вечером сюда, в ваш дом. Конечно, если она в состоянии прийти. Кажется, она не получила особых повреждений.

– Хотя Изабелла и не видела ее, но ей говорили, что на Марион не осталось никаких следов пытки. Это удивительно.

Для меня это было вовсе не удивительно, но я был этому очень рад.

– Тем лучше, – сказал я. – Теперь три часа. Назначим свидание на шесть, если это для нее удобно. Передайте ей, что хотя ей и не причинили вреда, тем не менее я очень сожалею, что пришлось потревожить ее сегодня, когда ей нужно было бы отдохнуть. Но это делается для ее же блага. Дело не терпит отлагательства. Итак, свидание будет в шесть часов. Может быть, донна Изабелла не откажется присутствовать при нашем разговоре. Ее присутствие могло бы ободрить ее двоюродную сестру.

– Я готова, если вы этого желаете.

– Дело не во мне, а в мадемуазель де Бреголль. Стало быть, если она того пожелает. У меня нет права голоса в этом деле. Вы не откажетесь, – обратился я к бургомистру, – лично отправиться к мадемуазель де Бреголль и передать ей мою просьбу. Прошу только об одном: я до сих пор не знаю, что было с ней в тюрьме. Но что бы там ни было, я советую ей держать все это в строгой тайне. Мы все добрые католики и должны надеяться, что поступок досточтимого отца Балестера является беспримерным в истории католической церкви. Мы не должны допускать, чтобы ее авторитет пострадал из-за какого-нибудь плохого монаха. Что касается других, то это добрые и святые люди. Было бы грешно, а главное – неблагоразумно, говорить о них дурно. Итак, позвольте мне не задерживать вас более, у меня тоже немало дел. Еще раз позвольте мне поблагодарить вас за ваше радушное гостеприимство.

– Мы должны благодарить вас, – отвечал ван дер Веерен.

– Вы оказали нам слишком много чести, ведь вы наш повелитель, – вставила дочь.

– Я губернатор города Гертруденберга и ваш покорный слуга, сеньорита, – отвечал я, прощаясь.

Вернувшись к себе в комнату, я позвал Диего.

– Иди и отыщи этих женщин.

Я написал их имена и отдал ему клочок бумаги. Диего умел читать и писать не хуже любого писца.

– Это главные свидетельницы в процессе де Бреголь, и я хотел бы переговорить с ними. Я имел основания сделать то, что сделал. Но народ не должен думать, что король Филипп вдруг проникся нежностью к еретикам. Было бы большой ошибкой так думать. Поэтому я хочу вникнуть как следует в это дело и хочу знать, что они показали. Понял?

– Понял, сеньор, – кивнул Диего.

– Возьми с собой двух-трех человек. Но если тебе удастся уговорить их явиться сюда добровольно, то это избавит нас от лишних хлопот. Приведи их в городской дом, где я буду через час.

Диего ушел. Он довольно сносно говорит по-голландски. Иногда он и делает ошибки, но это не важно в данном случае. Важно было одно – избежать осложнений.

Приближаясь к городскому дому, я опять почувствовал удивление, зачем я сделал все это сегодня. Из-за справедливости, которая в конце концов не есть справедливость? Ведь мы не можем устранить вред, причиненный одному, благодеяниями, оказанными другому. Мы можем, конечно, надеяться расположить в свою пользу небеса и избавиться от ада, поставив известное количество свечей пред алтарем. Так для чего же я все это сделал? Ведь я не какой-нибудь странствующий рыцарь, рыскающий по белу свету с целью восстановления справедливости и спасения дам. В наше время для человека,

который решился на такое путешествие, нашлось бы слишком много дел, и он уехал бы недалеко. Для чего я все это сделал? Ответа не было. Может быть, под влиянием минуты? Я остановился на этом соображении и даже повеселел на некоторое время.

Я медленно шел по улицам. Было тепло на послеобеденном солнышке. На улицах толпились люди, которые снимали шапки при моем приближении и почтительно давали мне дорогу. Наконец я прибыл в тюрьму и прочитал протокол по этому делу. Я, конечно, не ожидал, чтобы этот акт дал мне многое. Так оно и вышло в действительности. Протокол, в который были занесены все восклицания, вырвавшиеся у донны Марион во время пытки, был очень краток и показывал, что или она обладала необыкновенной силой воли, или же ее щадили. Во всем остальном это был обычный вздор, приукрашенный показаниями сомнительных свидетелей. Всегда, когда женщину обвиняют в колдовстве, можно подыскать с дюжину лиц, которые готовы клятвенно подтвердить это и которые с такой же готовностью откажутся от своих показаний, коль скоро ее признают невиновной.

Я, зевнув, положил обратно этот документ, написанный на плохом латинском языке. От него веяло скукой. Я встал и принялся с любопытством осматривать внутренность здания. Пришлось вступить в разговор с палачом, который производил пытку. Он одновременно палач и специалист по пытке – город слишком невелик, чтобы держать двух специалистов. Но и он не мог мне сообщить ничего или, может, и мог, но не хотел. Конечно, я мог бы заставить его заговорить, но я хотел испытать другие средства. Палач ведь важная персона, и с ним нужно обращаться с почтением!

Итак, я решил выждать. Ждать мне пришлось не очень долго. Диего ловко и быстро исполнил поручение и привел с собой двух женщин, из которых одна, к моему великому изумлению, была молода и красива, с великолепными рыжими волосами. Мне хотелось знать, что заставило эту рыжую красавицу взяться за такие дела.

– Сеньор, вот Бригитта Дорн и Анна ван Линден. Они ждут ваших приказаний.

– Ты можешь идти, Диего. Взглянув на обеих женщин, я сказал:

– Это вы дали главное показание против мадемуазель де Бреголь?

С минуту они колебались.

– Мы слышали разные толки о ней, ходившие в народе, и, когда достопочтенный отец стал нас спрашивать, не известно ли нам чего-нибудь о ней, мы, конечно, сказали ему все, что знали, – осторожно ответили обе женщины.

– Ваше показание занесено в судебный протокол в том смысле, что вы возводите на мадемуазель де Бреголль очень тяжкое обвинение, и теперь дело в том, согласны ли вы взять на себя ответственность за то, что показывали только что на основании непроверенных слухов, или же вы можете представить доказательство того, что вы показывали, повинуюсь приказанию инквизитора, который вам за это заплатил. Разница, как видите, значительная.

– Мы просим извинения у вашего превосходительства.

– Ну?

– Мы действительно... его преподобие просил нас...

– Я уже слышал об этом. Весь вопрос в том, желаете ли вы, чтобы с вами поступили как с лицами, которые легкомысленно повторяли праздные сплетни, позорившие благородную даму и приведшие ее в конце концов на эшафот, или же как с агентами инквизитора, или, если вам угодно, церкви, – с агентами, которые и раньше оказывали подобные услуги.

– Мы конечно... то есть я... ван Линден может говорить сама за себя... и раньше служила церкви и правительству.

– В таком случае вы в этом деле не только повторили сплетни, распускаемые разными старухами...

– Ваше превосходительство... вы видите...

– Мы знаем, как все это произошло.

– Достопочтенный отец призвал меня и сказал, что он подозревает одну молодую даму в сношениях с дьяволом. Он спрашивал меня, не известно ли мне

чего-либо о ней и приказал мне следить за ней. Потом...

– Говорите лучше все по правде. Кое-кто в этом деле пострадает, но кое-кого можно будет пощадить. С вами поступят сообразно тому мнению, которое сложится у меня о вас. Мне нужны только умные люди.

– Ваше превосходительство, я всегда служила хорошо. Я работала еще при почтенном отце Мортье, помните, когда была сожжена Клара ван Гульст с золотистыми волосами. Да, ведь вы были тогда еще мальчиком. Я устроила так, что, когда другие не могли добыть никаких доказательств, у меня они нашлись. С отцом Мортье трудненько было иметь дело, он не любил ждать. Но тогда он хорошо заплатил мне. За Клару он дал мне десять золотых гульденов. Да я и заслужила их: дело было очень опасное. Потом...

– Почему вы не внесены в списки? – перебил я ее. Это обстоятельство сбивало меня с толку, и мне хотелось выяснить его.

– Ваше превосходительство, это произошло из-за этого несчастного дела в Бреде. Это была не моя вина. Мне приказали собрать улики против ван Тессельта, и я это сделала. Но он имел большое влияние и в последнюю минуту был освобожден. Меня обвинили в том, что я была подкуплена его врагами, хотя я собственными своими глазами видела его на собрании у кальвинистского проповедника. Но мне не поверили.

Я мысленно отметил это обстоятельство. Оно было чрезвычайно важно для меня.

– Но отец Балестер знал меня хорошо, – продолжала шпионка. – Он знал, что на меня можно положиться. Узнав, что я здесь, он сейчас же послал за мной.

– Ну а вы, ван Линден? – обратился я к молодой женщине.

– Я не хотела, чтобы меня вносили в список. Я, конечно, и без того не могла бы отказать в своих услугах, когда в них есть надобность. Но могли быть случаи, когда я предпочитала бы остаться в стороне.

Странно было слышать такой гордый ответ от подобной личности, и я не знал, как его понимать.

– Хорошо. Начинайте ваш рассказ с самого начала. Достопочтенный отец прислал за вами?

– Да, ваше превосходительство, – отвечала ван Линден. – Достопочтенный отец...

– Он сначала прислал за мной, – перебила старуха.

– Совершенно верно. Досказывайте, а я могу подождать, – не без презрения отвечала ван Линден.

– Ах, вы можете подождать, – со злобой заворчала старая ведьма. – Ты думаешь, что твои действия так важны, что потеряют в цене, если тебе придется подождать. Но я работала не хуже тебя, а даже, может быть, и лучше.

Ван Линден не отвечала.

– Кто нашел жабу в фонтане, подле которого прошла эта дама? Кто созвал народ и показал ему эту жабу?

И старуха пустилась перечислять свои подвиги, победоносно кивая. Ван Линден отодвинулась от нее с видом отвращения, как будто ее дыхание заражало ее.

– Почему ты не отвечаешь? – с гневом продолжала старуха. – Ведь это ты подговорила Катерину сказать, что она не верит в это? Разве я этого не знаю? Да, и его превосходительству это известно, – яростно махнула она рукой. – Но это нехорошо. Ты не одолеешь меня таким путем. Кто следил за домом этой дамы, пока оттуда не вышел на рассвете человек в черном одеянии? А кто нашел отпечаток ноги на полу в ее комнате? Все этому поверили.

Она говорила быстро и громко, раздраженная молчанием ван Линден. Теперь она остановилась, чтобы перевести дыхание. Я молча смотрел на нее и ждал продолжения.

– А кто разузнал, что ребенок Магдалины Брауер заболел, после того как эта дама дотронулась до него? А ты что сделала? Ты пришла на другой день и видела только, что ребенок умер. Вот и все. Молода еще, лучше занимайся своими рыжими волосами. А дело буду делать я. Вот его превосходительство сам

разберется во всем.

И вдруг, как бы вспомнив, что положение дел с утра сильно изменилось и что она открыла уж слишком много, старая мегера заговорила:

– Ваше превосходительство, отец Балестер сказал мне, что эта дама виновна. Он, конечно, знал, что говорил, а я простая бедная женщина. Если ваше превосходительство находите, что эта дама не виновна, – продолжала она с хитрой улыбкой, отчего ее беззубый рот стал еще противнее, – то я буду всем говорить, что это действительно так. Все будут ко мне прислушиваться, а я уж знаю, как сказать.

– Не сообщите ли мне чего-нибудь о человеке в черном одеянии, который, по вашим словам, вышел на рассвете из дома этой дамы, а также относительно следов ног в ее комнате?

– Я, ваше превосходительство, передаю только то, что мне говорил почтенный отец. Тогда было очень темно, и возможно, что я ошиблась. Может быть, кот вымазался в камине, следы были не очень явственны. Поэтому я прошу ваше превосходительство извинить меня, я разумею в том случае, если вы подозреваете еще что-нибудь и хотите иметь доказательства...

– Я посмотрю, – отвечал я. – А вы что скажете, Анна ван Линден?

Ван Линден, слушая наш разговор, как-то странно молчала. Потом она бросила нам – мне и Бригитте – презрительную улыбку.

– Я полагаю, что ваше превосходительство достаточно уже осведомлены обо всем, – спокойно отвечала она.

– Хорошо, – сказал я. – Благодарю вас за доставленные мне сведения. Позвольте спросить, сколько вам заплатил отец Балестер? Я тоже должен вас отблагодарить за причиненное беспокойство, и мне бы не хотелось отставать от него.

– Он дал мне пять золотых флоринов, – сказала Бригитта. – Но он обещал дать еще.

– А вам, Анна ван Линден?

– Кажется, шесть, ваше превосходительство, – небрежно сказала она, как будто бы это для нее было совсем не важно.

– Ты получила больше за свою физиономию, вот и все, – прохрипела старуха.

– Я сам думаю, что Анна ван Линден заслужила большего. Ибо вы только отравили колодезь, отчего ребенок заболел, а она убила его, когда он вздумал было поправляться.

Бригитта с изумлением уставилась на меня. Анна только улыбалась какой-то загадочной улыбкой.

– Ваше превосходительство, ребенок... – начала было Бригитта, но вдруг остановилась.

– Вы хотите сказать, что ребенок умер от какой-нибудь случайности? Пусть будет так, и я напрасно обвинил вас? Нет сомнения, наиболее трудная часть дела сделана вами.

– Я никогда не говорила, что я...

Она опять остановилась, как будто чувствуя инстинктивное отвращение ко всяким объяснениям.

Я вынул из кармана несколько монет и стал считать их. Потом я опять положил их в карман и сказал:

– Вы, конечно, должны знать, как все это случилось. Я принимал вас за ловких женщин, которые не станут заниматься пустяками. Ясно, что всякий, кто доставит сведения о том или другом событии, поступит лучше и заработает больше, чем тот, кто только его увидит и пройдет мимо.

С этими словами я опять вынул деньги, но уже не все.

Старуха с минуту смотрела на них. Жадность и хитрость явственно отражались на ее лице. Потом она сказала:

- Дайте мне все эти деньги, ваше превосходительство. Все это устроили мы.
- То есть вы хотите сказать, что бросили жабу в колодезь и сделали ребенка больным? И устроили так, что в комнате этой дамы оказались следы ног?
- Да. Поверьте, ваше превосходительство, ребенку не было бы никакого вреда...
- Пока вы не убили его, Анна ван Линден? Она едва заметно пожала плечами и возразила:
- Я только прекратила его мучения. Бригитта права, он никогда бы не поправился.
- Хорошо, я конечно, не сконфужу вас таким ничтожным вознаграждением.

И с этими словами я удвоил количество денег. Бригитта двинулась было вперед, чтобы схватить деньги, но я жестом остановил ее.

- Подождите минуту. Я попрошу вас подписать вот эту бумагу, которая может доказать, что все это дело затеяно инквизитором и что все было подстроено по его приказанию. Вот и все. Согласны вы подписать?

Ей это было не очень приятно.

- Прошу извинения. Как вам известно, церковь... Вы могущественный вельможа, а я бедная женщина. И инквизитор...
- Если он когда-либо вздумает упрекнуть вас в этом, – я не думаю, впрочем, чтобы ему пришла в голову такая мысль, – то вы можете сказать, что я принудил вас к этому. А я могу это подтвердить, когда вам угодно.
- Я не умею писать, ваше превосходительство, – продолжала она отпираться.

– Поставьте крест в таком случае. Этого будет достаточно. Ну а вы как, Анна ван Линден? Вы тоже боитесь подписать?

– Нет, не следует быть трусом в этом мире.

– Вы правы, – сурово сказал я.

Я велел позвать нотариуса, которой уже ждал в другой комнате.

– Анна ван Линден и Бригитта Дорн в вашем присутствии должны подписать данное ими показание.

Сначала они обе не хотели сделать это, особенно Бригитта. Анна ван Линден ни в чем не изменила своего поведения. Но отступить было уже поздно.

В последний раз Бригитта взглянула на бумагу, которую не умела прочесть. Кроме того, она была так сложена, что ей была видна только чистая сторона.

С неохотой поставила она крест за себя. После этого подписалась и ван Линден.

– Потрудитесь засвидетельствовать эти подписи и удостоверить, что все в порядке.

Нотариус исполнил мою просьбу и удалился. Когда он вышел, я сказал:

– Я прочту вам этот документ, чтобы вы не могли отговариваться тем, что не знали его содержания.

«Я, Бригитта Дорн, и я, Анна ван Линден, сим свидетельствуем, что по желанию и приказу почтенного отца Бернардо Балестера, инквизитора города Гертруденберга, собрали доказательства сношения с дьяволом Марион де Бреголль, каковые доказательства, по нашему признанию, были ложны и подстроены нами следующим образом: я, Бригитта Дорн, бросила жабу в колодезь на Ватерстрате после того, как мимо него прошла упомянутая де Бреголль, и распустила слух, что эта жаба была брошена ею. Во-вторых, я навлекла болезнь на ребенка Магдалины Брауер и уверила всех, что он заболел от прикосновения Марион де Бреголль, которая в этот день с ним говорила. В-

третьих, я ложно уверила всех, будто я видела черного человека, который на рассвете вышел от нее из дому. В-четвертых, я сделала в ее комнате следы ног, которые показала народу, уверив его, что это следы дьявола. Я, Анна ван Линден, прежде всего помогала во всем этом тем, что распускала дурные слухи про означенную даму. Во-вторых, я убила ребенка Магдалины Брауер, который стал поправляться. Все это мы сделали для того, чтобы угодить достопочтенному отцу Бернарду Балестеру, который говорил нам, что он подозревает Марион де Бреголль в сношении с дьяволом, и чтобы получить обещанную им награду, состоявшую из пяти или шести флоринов, которые мы действительно и получили от него. Все вышеизложенное мы показали добровольно, без всякого принуждения или запугивания и пыток. И все вышеизложенное – правда, да смилуется над нами Господь».

Подписано: «Бригитта Дорн и Анна ван Линден в присутствии королевского нотариуса ван Эйра, который подписал этот документ и приложил к нему печать, согласно закону».

Я положил бумагу на стол и взглянул на обеих женщин. На лицах у них был написан испуг.

– На что все это понадобилось? – спросила ван Линден.

– Чтобы восторжествовало правосудие.

– Вы обещали, что мы не пострадаем, если скажем всю правду! – воскликнула старуха.

– Я ничего не обещал вам, – строго сказал я. – Я объявил, что с вами поступят сообразно тому мнению, которое у меня о вас составит. Я так и сделаю. Я встретил двух женщин, которые не задумались убить ребенка и отправить на эшафот невинную девушку из-за каких-то шести флоринов. Они могли бы сделать что-нибудь и еще худшее, если бы только им за это заплатили. Я сказал, что мне нужны ловкие люди, а вы действовали довольно неуклюже. Какие доказательства вы собрали? Жаба в колодце, черный человек да умерший ребенок. Старая история! Давно бы пора все это бросить. Это может действовать только на каких-нибудь старух. Вы сами изрекли себе приговор.

На несколько минут воцарилось молчание.

– Вы обманули нас, заставив подписать бумагу, – яростно завопила Анна ван Линден. – Если бы мы знали, что в ней написано, мы бы никогда этого не сделали. Мы не желаем признавать своей подписи.

– Тише, тише, – отвечал я. – Разве там написано что-нибудь такое, чего вы мне не говорили? Что касается вашей подписи, то вы можете отрицать ее сколько угодно. От этого дело нисколько не изменится. Я обманул вас? Я научу вас, как нужно говорить со мной. Если бы мне нужно было заставить вас сказать неправду, то у меня был для этого другой, более простой путь: комната пыток здесь внизу, да и палач наготове.

Снова наступило молчание. Старуха дрожала от страха, но ван Линден сохраняла полное спокойствие.

– Что вы с нами намерены делать? – спросила она наконец.

– Сейчас узнаете. Прежде всего вы должны подписать другую бумагу, которую я заготовил. Я вам вкратце сообщу ее содержание, чтобы вы опять потом не говорили об обмане. В бумаге будет написано, что все это колдовство, в котором была обвинена мадемуазель де Бреголль, вы проделали сами, а затем, частью по злему умыслу, частью во избежание собственного ареста, свалили все на нее, благо инквизитор, очевидно, был настроен против нее.

– Это неправда! – разом воскликнули обе.

– Как неправда? Ведь доказательства, которые вы собрали против обвиняемой, оказались ложными. А между тем на основании их она едва не была сожжена. Вы ведь сами в этом сознались, и я еще не решил, как воспользоваться этим признанием.

Обе женщины задрожали.

– Ну, теперь вы подпишете? – спросил я тоном, не допускающим возражений.

– Нет, нет! Никогда! – закричала ван Линден. Бригитта, дрожа, сделала лишь отрицательный знак рукой и энергично потрянула своей седой головой.

– Хорошо.

Я позвонил. Вошел дежурный солдат.

– Что изволите приказать, сеньор?

– Скажи палачу Якобу Питерсу, который ждет внизу, чтобы он взял с собой помощника и пришел сюда.

Солдат ушел. Обе женщины, крепко стиснув руки, застыли в неподвижной позе. На их лицах нельзя было прочесть ничего.

– Вы еще не взяли следуемых вам денег, – сказал я. – Вы их заработали. Хорошо сделаете, если возьмете их и спрячете в какой-нибудь карман. Я не знаю, имеет ли палач привычку возвращать то, что попадает ему под руку. Я еще не успел познакомиться с ним поближе, но люди его ремесла на этот счет обыкновенно очень забывчивы.

Старая ведьма с минуту стояла в нерешительности, потом жадно схватила монеты и спрятала их в карман. Но Анна ван Линден отвечала с гневом, на который я не считал ее способной:

– Можете сами взять свои деньги.

– Я никогда не беру назад денег, которые вышли из моих рук, – высокомерно отвечал я. – Если вы не желаете брать их, то пусть они остаются здесь, пока кто-нибудь не возьмет их.

И я повернулся к ней спиной.

Через минуту в дверь постучали. Вошел Якоб Питере с помощником.

Питере – человек средних лет, по обличью настоящий крестьянин с большой красивой бородой. Никогда бы и не заподозрил в нем палача. Я часто удивлялся, как люди его профессии могут иметь такой благодушный вид, будто жизнь представляла перед ними лишь в розовом свете. Происходит ли это оттого, что, живя среди постоянных ужасов, они мало-помалу делаются к ним

нечувствительны, или самые мучения доставляют им удовольствие, – этого я не берусь сказать. Впрочем, я не замечал, чтобы их жертвы что-нибудь выигрывали от этого благодушия.

Якоб Питере дружески кивнул обеим женщинам, которых предстояло ему передать, с видом человека, который в высшем обществе чувствует свое привилегированное положение. Вид его, казалось, говорил, что ему будет очень приятно в первый раз поработать в качестве палача над этими двумя женщинами, с которыми он, очевидно, был давно знаком.

По моему приказанию он повел их к маленькой двери, которая находилась против входной двери и скрывала за собой винтовую лестницу, сделанную в стене. Для пыток дом устроен очень удобно: отсюда не дойдет до внешнего мира ни один звук, и без всякого нежелательного вмешательства публики жертву можно было в одну минуту спровадить вниз или вызвать опять вверх.

Когда мы спустились в это ужасное место, в нем было почти темно и пришлось зажечь свет. Я бросил вокруг себя беглый взгляд. Заметив мое любопытство, Якоб Питере самодовольно сказал:

– Все в самом лучшем порядке, ваше превосходительство. За последнее время инструментам некогда было заржаветь.

Я не сомневался в этом, но мне и в голову не приходило, что когда-нибудь мне придется прибегнуть к ним.

– Подпишите вы или нет? – спросил я обеих женщин после того, как Питере бросил любовный взгляд на свои орудия.

– Нет, не желаем, – свирепо отвечали обе. Они, очевидно, не верили, что я могу прибегнуть к этому последнему средству, хотя мне было совершенно неясно, на чем зиждилась эта уверенность в моей чувствительности.

– Возьмите их, – сказал я улыбающемуся палачу.

– Не прикасайся ко мне, грязное животное! – закричала ван Линден, лишь только он хотел взяться за нее. – Позвольте мне, сеньор, самой приготовиться к пытке.

– Пусть так, – согласился я.

Якоб Питере, сделав жест сожаления, приблизился к Бригитте.

Я стоял и смотрел на мрачный низкий свод, прокопченный дымом пыток, что причудливыми завитками медленно выходил через узкое отверстие с решеткой, сквозь которую виднелось небо. Оно казалось таким далеким, и, вероятно, многие потеряли здесь веру в него. Мои глаза следили за медленно извивающимся серым дымом, и я стал думать о том, сколько людей подвергались здесь пытке за преступления, которых они никогда не совершали. Вдруг какой-то нечленораздельный звук, вроде стоны, заставил меня опустить глаза. Я увидел Анну ван Линден. Прикрытая лишь куском какой-то тряпки, она бросилась передо мной на колени и обнимала мои ноги. Она, очевидно, рассчитывала на это последнее средство.

Ее голые руки обнимали мои ноги, пышные рыжие волосы разметались, переливаясь в отблесках огня, и она была обворожительна.

– Что я сделала? За что вы так со мной поступаете? – рыдала она. – Я готова для вас сделать что угодно, только избавьте меня от пытки.

– Согласны вы подписать бумагу?

– Но ведь тогда вы сожжете меня, как ведьму.

– Вы думаете, что я не могу сделать это и без вашей подписи? Разница в том, что если вы раскаетесь, вас повесят, а не раскаетесь, вас сожгут.

Она зарыдала:

– Неужели ничто не может смягчить вас?

– Вам нужно только подписать бумагу, – холодно сказал я.

– И тогда вы отпустите меня?

– Отпустить? Нет, конечно, не отпущу. Вы будете содержаться в тюрьме, но с вами будут хорошо обращаться и не причинят никакого вреда. Большого вы не заслуживаете. Благодаря вам много невинных испытали страдания, которых вы теперь страшитесь. Что же касается дальнейшего, то на этот счет я не могу вам дать никаких обещаний.

Она бросилась на пол и закрыла лицо руками. Потом она дико взглянула на меня и сказала:

– Стало быть, здесь ничто не может помочь мне. – Да.

– Дайте бумагу, я подпишу ее.

Я предвидел это и держал бумагу наготове. Она взяла перо и дрожащей рукой вывела свою подпись. Кончив писать, она снова закрыла лицо руками и разразилась горькими рыданиями.

– Не думайте, что я сделала все это из любви к деньгам, – прерывисто заговорила она, несколько успокоившись. – Моя мать считалась ведьмой и была сожжена на основании таких же доказательств, какие мы собрали против Марион де Бреголль. Все боялись ребенка, оставшегося после ведьмы. Еретики, из которых за последние годы я многих довела до костра, были настроены еще хуже по отношению ко мне. Меня едва не постигла такая же судьба, какую испытала моя мать. Как я ненавижу этих доброжелательных господ, которые боятся меня, как чумы! Как мне хотелось отомстить им всем! Я только не знала, каким образом. В один прекрасный день одна женщина, дававшая показания против моей матери, сама подверглась обвинению. Своими показаниями я помогла отправить ее на костер. Я даже не подозревала, что это так легко, и с этого дня я стала поставлять жертвы для костра, укрепляясь в своей ненависти все более и более. Они объявили войну мне, и я платила им тем же. Впоследствии, однако, когда я достигла зрелого возраста, меня охватил ужас при мысли о моей жизни. Раскаяние пришло поздно, но ведь я была еще так молода! Мне было всего десять лет, когда сожгли мою мать, а теперь мне двадцать два года. Пять лет, как я стараюсь порвать с этой жизнью, но не могу! Видели ли вы, как умирают люди, затянутые зыбучими песками. Я однажды видела, как в них погибла одна женщина. С каждым шагом по этой предательской почве она уходила в песок все глубже и глубже, пока он не сомкнулся над ее головой. Теперь это произошло и со мной. Я сильно боролась с собой, – бурно продолжала она. – Но разве я могла жить как все? Во-первых, я

была дочерью ведьмы, а во-вторых, доносицей и шпионкой. Куда бы я ни пришла, мое положение не менялось. Если я давала денег – хорошо. Если бы я была не в состоянии платить – я могла бы умереть где-нибудь в канаве.

Почему же другие могли иметь пищу и кров? Мне ничего не оставалось делать, как выбирать: или идти по прежней дороге, или бродить по улицам. Это, может быть, было бы лучше, но я не могла принудить себя к этому. Нередко бывало и так, что мне оставалось только подписать свое имя, а дело было уже сделано без меня, и никакая сила не могла бы спасти обвиняемых. Я хотела предостеречь Марион де Бреголль, но она не приняла меня. Когда я подошла к ней на улице, она с отвращением отвернулась от меня. Тогда сердце мое ожесточилось, ведь и я человек. Я понимаю, что мне лучше было умереть раньше, но ведь я была так молода... И вот теперь мне предстоит сгореть живьем!

При последних словах она перешла на крик. Вдруг она задрожала и, уставившись в пол, замолкла. Когда она подняла глаза на меня, они как-то неестественно расширились, и она прошептала, как в бреду:

– Страшно сгореть. Я это часто видела. Скоро это будет?

Со странным вниманием прислушивался я к ее словам – к этому крику существа, заблудившегося, подобно многим, в серой пустыне нашего мира. А разве способны на что-нибудь другое, кроме блужданий на ощупь? И она была жертвой того положения вещей, которое создано церковью, проповедующей религию Того, Кто строго осудил своих учеников, просивших ниспослать огонь на Самарию. Не она была главной виновницей своего греха.

– Если меня не заставят, то я не сделаю этого, – сказал я гораздо мягче, чем хотел.

– Благодарю вас, но я чувствую, что смертный час мой близко.

Стиснув руки и опустив голову на грудь, она безмолвно стояла передо мной на коленях. Свет факела дрожал на ней, играя резкими пятнами на ее белой коже и составляя какой-то странный контраст с ее спокойствием. Молила ли она меня? Этого я не знал и продолжал стоять тоже безмолвно.

Наконец она поднялась и спросила:

– Вам больше ничего не нужно от меня?

– Ничего. Я рад, что вы раскаиваетесь.

Она сильно изменилась. Дикий огонек погас в ее глазах, уступив выражению глубокой печали. Она глубоко вздохнула:

– Увы! Слишком поздно.

И как будто только теперь заметив свою наготу, она густо покраснела и закрыла грудь остатками своего наряда. Затем она с трудом поднялась и тяжело отошла от меня.

– Ваше превосходительство, – ворвался ко мне в душу веселый голос Якоба Питерса, – мы готовы заняться с Бригиттой.

– Согласна она подписать?

– Слышишь, что его превосходительство тебя спрашивает? Досадно будет. Мы так хорошо все приготовили. Не желаешь? Отлично. Рекомендуются начинать с легкого ущемления членов, ваше превосходительство. Тут у меня есть свои приемы, которые действуют весьма убедительно.

– Отлично. Управляйтесь скорее. У меня немного свободного времени. Уже поздно. К тому же мне все это надоело, и я хотел бы уйти.

Дикий крик показал мне, что приемы Якоба Питерса в самом деле действуют убедительно.

– Я подпишу, – едва переводя дух закричала Бригитта. – Я подпишу. О, Господи!

– Эге, тетка, – веско приговаривал ее мучитель, – я думал, что ты покрепче будешь. Это ведь только начало. Вспомни-ка о девушках, которых ты присылала сюда, из которых некоторые выдержали все, не сдаваясь.

– Возьмите бумагу, и пусть она подпишет, – приказал я. – Она, кажется, всегда вместо подписи ставит вот такие кресты.

Палач посмотрел на них.

– Точно так, ваше превосходительство. У тетки Бригитты тонкий почерк.

– Дайте ей бумагу поскорее.

Когда бумага была подписана, я положил ее в карман. Надо было еще, как водится, засвидетельствовать подписи. На самом деле их нельзя было подписывать здесь, но мне хотелось завтра же снять с них копию со всеми формальностями. Прежде чем уйти отсюда, я сказал Якобу Питерсу, который был одновременно и производителем пыток, и палачом, и главным тюремщиком:

– И ту и другую нужно задержать и посадить в разные комнаты. Они могут сами заказывать для себя пищу, и не следует их отягощать чем-либо. Не забывайте этого. Завтра я распоряжусь иначе, а до тех пор вы отвечаете за них.

Мне было очень приятно очутиться опять на улице Между высокими крышами виднелась лишь узенькая полоска неба, но, далекая и слабо видимая, она была протестом против ужасов жизни, которая, казалось, разрушалась за стенами тюрьмы. Было уже совершенно темно и холодно Я вздрогнул и быстро пошел, чтобы согреться и рассеять впечатления последних часов. Я чувствовал себя как-то нехорошо, как будто что-то грязное пристало ко мне.

Когда я подошел к гавани, которую мне предстояло обогнуть, все уже окончательно погрузилось во мрак. Только на западе, на самом горизонте виднелась чуть заметная полоска зеленовато-желтого света, отражавшаяся в воде вместе с огнями судовых фонарей и окон домов. Над всем царило полное спокойствие. Уже давно не доходили до моего слуха размеренные шаги часового перед тюрьмой. Не слышно было ни одного звука. Только вода мерно плескалась о каменную набережную. Торжественно сияли звезды и двигались по определенному им пути с гордой уверенностью, как будто сознавая, что никакая сила не в состоянии заставить их свернуть хоть на волос с их дороги, Безошибочно шли они к западу, где понемногу исчезала зеленоватая светлая полоса. О, если бы мы могли идти так – прямо и уверенно. Как часто я завидовал им. Ибо они повинуются одному великому закону, который неуклонно управляет

ими, и не знают ни сделок с совестью, ни ее смущения.

Слишком многим управляется наша судьба – иные говорят – Богом, другие – бесом, третьи – силой атавизма, переходящего от предков к потомкам, – силой, которая заставляет нас действовать сообразно нашей натуре, хотя мы и воображаем, что воля наша свободна. Если б я был уверен, что эта сила управляет нами всегда, я встал бы на колени и обожествлял бы ее, как равную самому Господу Богу. Но, кроме нее, в нас есть еще нечто, что говорит «я хочу» и этим побеждает все остальное. Ведь в моих руках добро и зло, и я могу выбирать.

Но действительно ли у меня есть выбор? Разве я знаю, где начинается и где кончается моя власть? Могу ли стряхнуть с себя приставшую ко мне грязь, если того захочу? Вот я сейчас иду с борьбы, которая не хочет закончиться поражением, а ищет для себя победы и не обращает внимания на средства. Мои предки сделали меня таким, каков я есть, и я не могу от них отказаться, если б даже и хотел. Так что же тогда остается от моей воли?

Часы на башне пробили половину шестого. Я почувствовал, что глупо предаваться таким мыслям. Я находился в небольшом городке, в стенах которого я был гигантом. Я, очевидно, опьянел от самомнения и вздумал изменить мир. Я шел вперед и издевался над глупостью мира сего, который осуждает и сжигает людей за преступления, которых они не совершали. Ведь дело могло действительно до сожжения, я это чувствовал. Церковь нуждается в жертвах. Но монахи никогда не будут в их числе и, вопреки всему тому, что я говорил ван дер Веерену, безопасность Марион де Бреголь и моя собственная висела на волоске. Одно неосторожное движение, и мы оба погибли.

Меня могли простить за то, что я сделал, но не за нарушение принципов. Только мой собственный костер мог бы послужить доказательством моего правоверия после всего того, что случилось. Я сказал, что народ в Испании более просвещен, но даже могучая испанская инквизиция не осмеливается открыто идти против формальных доносов монахов и попов. В течение сотен лет твердили, что колдовство действительно существует. Книги разных богословов полны рассуждениями на эту тему, и вера в колдовство должна оставаться неприкосновенной. Так называемый Епископский канон, возникший еще в VI веке и отрицавший существование колдовства, давным-давно забыт, но он существует. И, как верный сын церкви, которому дорога ее слава, я остановился

на этом выходе из дилеммы.

В 1572 году было гораздо сложнее освободить одну женщину от эшафота, чем сжечь сотню еретиков.

Когда я вернулся в дом ван дер Веерена, часы на колокольне церкви Святой Гертруды пробили три четверти седьмого. Я опоздал почти на час. Я заспешил, так как привык быть точным и не любил заставлять себя ждать, особенно даму. В данном случае мне было неприятно вдвойне, ибо могут подумать, что я, будучи хозяином положения, не желаю ни с кем считаться.

На лестнице меня встретил ван дер Веерен. Тем торжественным и немного высокомерным тоном, который так ему шел, он просил меня распоряжаться им. Я поблагодарил его и спросил, здесь ли мадемуазель де Бреголь.

– Она уже ждет вас.

– Пожалуйста, передайте ей мое сожаление в том, что я опоздал. Прошу извинить меня, но я был задержан по ее же делу.

– Тем более она будет благодарна. Я сейчас передам ей это.

Через несколько минут я встретился лицом к лицу с мадемуазель де Бреголь. Когда я вошел в комнату, она была там одна и стояла, облокотившись на кресло. Мы встретились в той самой комнате, в которой я уже был, когда впервые посетил дом ван дер Веерена. Тогда она была залита солнцем и пропитана запахом духов. Теперь же был вечер, на двух столах стояли рядами свечи, что придавало этой длинной низкой комнате с темным потолком какую-то странную торжественность.

Женщина, которую я спас, также имела сосредоточенный и серьезный вид, как будто подчеркивая, что жизнь, которую я ей даровал, есть вещь далеко не заурядная. Свет от свечей играл на ее лице и за ее спиной, в темноте. Одета она была во все черное, со строгой простотой. Если бы на шее у нее не было белых кружев, то можно было бы подумать, что она в трауре. Волосы у нее были завязаны на затылке узлом, и в них не было никаких украшений.

Она немного выше и стройнее своей двоюродной сестры, но овал лица и мягкие очертания рта у обеих одни и те же. Только глаза у них разные: у нее они шире и не имеют того выражения гневного презрения, которое, по-видимому, обычно для донны Изабеллы. Они были ясны и кротки, когда она подняла их на меня.

Сначала она густо покраснела, но затем лицо ее вновь побледнело. Она быстро сделала шаг вперед и, прежде чем я успел предупредить, опустилась передо мной на одно колено и, схватив меня за руку, поцеловала ее.

– Я еще не успела поблагодарить вас, сеньор, – сказала она просто.

В этом ее поступке было что-то очень серьезное и вместе с тем мягкое. И опять меня охватило чувство какой-то торжественности, когда я взглянул на нее: этот ряд горящих свечей, темная комната и эта женщина в черном у моих ног.

Мне и раньше приходилось видеть такую обстановку – ночь, свечи и прекрасную женщину в черном у моих ног. Я видел, как не одна прекрасная женщина склонялась передо мной долу, так что ее белые руки почти касались моих шпор. Я видел, как они извивались передо мной на земле, умоляя о пощаде – кто сына, кто мужа, кто отца. Я видел, как они уходили от меня, раздавленные моим отказом. Я ведь сказал уже, что я не какой-нибудь странствующий рыцарь, и меня приучили идти по жизни сурово и холодно, не поддаваясь сентиментальным увлечениям. Я до сих пор еще не спас ни одной души таким образом, как сегодня, и никогда не получал благодарности таким способом. Это было что-то совсем новое для меня, и я был смущен такой необычной кротостью.

– Мадемуазель, – сказал я, – вы сконфузили меня. Я не заслуживаю этого. Я только исполнил долг правосудия.

– Нет, вы сделали больше: вы поверили мне. Кроме моего слова, других доказательств у вас не было.

– Нет, у меня они были: это ваше лицо и глаза. А кроме того – не повторяйте за мной этих слов – я не верю в ведьм.

– Помилуй меня Бог, если я сама когда-нибудь в это верила, – промолвила она, вздрогнув. – Поверить тому, будто моя старушка Варвара, которая нянчила меня еще в детстве, это воплощение доброты, будто она созналась, что впускала

ночью дьявола в мою комнату и учила меня, как отравлять детей и носиться на помеле! Но эти страшные пытки могут хоть кого заставить отрицать даже существование солнца на небе! Как я выдержала их и не созналась – этого я сама не знаю.

Она снова вздрогнула и закрыла лицо руками.

Я не сказал ей, что причиной этого является ее красота, что инквизитор пытал ее лишь слегка, не желая нарушить гармонии ее сложения.

– Но ужаснее всего было все последующее, – начала она снова, – когда я стояла на эшафоте и ждала конца. В детстве мне пришлось видеть, как сжигали какую-то женщину. Она была молода и сильна, как я, а костер, как и сегодня утром, отсырел. Пламя поднялось кверху и спалило ее одежду, а затем медленно стало пожирать свою добычу, пока не обуглилось все тело. И все-таки она была еще жива. Иногда мне до сих пор кажется, что я слышу ее стоны... Все это я видела и слышала опять, когда стояла в ожидании казни. Я закрыла глаза. Когда я открыла их, то сквозь тонкий туман увидела, словно привидение, отряд всадников, стоявший на площади. Мои глаза встретились с вашими, а потом еще раз. И тогда я знала, что я спасена. Разве это не странно, сеньор?

– Конечно, странно. Именно в этот момент я решил спасти вас.

В ее глазах сверкнул какой-то огонек, и она начала опять:

– Один великий ученый, почтенный старец с длинной седой бородой, говорил мне, что мысль имеет силу проходить через пространство, подобно свету, и передаваться другим. По его словам, она может передать мольбу, как не могут сделать никакие слова. Бедный, он давно уже сожжен, но я хотела бы знать, правда ли это? Он говорил, что сила мысли зависит от силы чувства, и еще что-то, о чем я теперь уже не помню.

Она потупилась и смолкла.

Я понимал, на что она намекала. Я тоже слышал о такой теории, которую инквизиция поторопилась объявить опальной. Второе условие, о котором она не хотела сказать, было: если найдется родственная душа. По всей вероятности, она помнила об этом, только сделала вид, что забыла. Мне незачем было

обсуждать в данный момент эту теорию.

– Я все-таки боюсь, что в конце концов в обвинении в колдовстве, которое возвел на вас отец Бернардо, есть кое-что и справедливое, – отвечал я с улыбкой. –
Никогда в жизни мне еще не доводилось освобождать несправедливо осужденных жертв. Скорее наоборот.

– О, не говорите так, – с упреком возразила она. – Я не хочу этому верить. Не повторяйте таких страшных слов. Я вся дрожу от них.

– Я хорошо понимаю это, сеньорита.

Когда я вошел, она обратилась ко мне на испанском языке. Я ответил ей из вежливости по-французски, а потом совершенно бессознательно перешел опять на свой родной язык. Она также говорила на нем безупречно.

– Вам, впрочем, еще придется слышать об этом. Как это вам ни тяжело, я прошу вас рассказать мне всю эту историю. Говорите, как вы говорили бы вашему духовнику.

Я был почти уверен, что, как и большинство здешних жителей, она принадлежит к еретикам, и потому считал не лишним бросить ей слово предостережения. Я чувствовал, что она поймет мои намерения.

– Вы имеете право спрашивать меня, – отвечала она. – Иначе как же вы будете судить? Но, увы! У меня нет никаких доказательств.

– Я верю вашему слову, сеньорита. Для меня это лучшее доказательство. Расскажите же мне обо всем без всякой боязни.

Кровь бросилась ей в лицо, но это длилось не более одной минуты.

– Я готова, сеньор, – отвечала она.

Мы оба сели. Положив одну руку на подлокотник кресла и заслонив лицо другой, она стала рассказывать свою историю. У нее был чудный низкий голос, какой я люблю слушать. Он совсем другой, чем у донны Изабеллы... И тот и другой голос

очень музыкальны, но разного тембра. Однажды я ехал с гор Сьерры-Невады к морскому берегу. Тропинка вилась вдоль берега маленькой речки, которую она пересекала в нескольких местах. Горы в этом месте поднимались прямо из воды. Когда я отъехал от речки, то издали слышался мне мерный ритмичный плеск воды. Спадая со снежных высот, речонка гордо и нетерпеливо перепрыгивала через камни и скалы. Я любил слушать этот шум спешащих волн: в нем мне чудилось что-то родственное моей собственной натуре. Когда я потом услышал густую, могучую музыку океанского прибоя, то мне трудно было решить, что мне больше нравилось.

Голос донны Изабеллы напоминал шум ручья с его внезапными резкими сменами тональности. Голос Марион более походил на шум океанского прибоя. Я понимаю, что это очень искусственное сравнение, но оно невольно пришло мне в голову, когда я, сидя в кресле, слушал ее.

Впоследствии, когда мне приходилось ее слышать, это впечатление еще более усилилось.

– Отец Бернардо появился здесь не так давно, – начала она. – Я встречалась с ним в доме моего дяди и у других. Сначала он говорил мне то же, что и все другие монахи, но говорил не только как духовное лицо, но и как светский кавалер. Вы знаете эти манеры, сеньор. Мне он не понравился. Но, насколько я могу припомнить, я не сказала ни одного слова, за которое меня можно было бы упрекнуть. И ничего не было особенного вплоть до того самого дня, когда я решилась взять под свое покровительство девочку-француженку, о которой вы уже слышали. Я знала, что она ни в чем не виновата, но ее взяли на пытку. Разве я могла поступить иначе. Всемогуший Бог, всевидящий, вознаградил меня свыше моих заслуг, ибо я осталась жива, – прибавила она, понижая голос. – Дня через два после этого меня посадили в тюрьму. Никогда не забуду я этой сырой, пустой комнаты с черным крестом на стене. Под ним стоял инквизитор и настойчиво требовал, чтобы я созналась. Потом стали меня пытать. О, какой позор!

Она снова закрыла лицо руками.

– Какие мучения! Но у меня хватило сил их перенести. Он обещал мне прощение, если я сознаюсь и буду во всем послушна его желаниям. Но когда я спросила, в чем состоят его желания, он отвечал мне довольно неясно и ничего не сказал прямо. Тогда мне пришло в голову... Но ведь у меня нет доказательств. Пытки

возобновились, но Господь и на этот раз дал мне силы их перенести. Подумайте только, сколько людей должны были сознаться при таких условиях в том, чего они никогда не делали.

Я видела, как у меня на глазах пытали старушку Варвару до тех пор, пока она не созналась во всем, что от нее требовали. Бедная! Она признала бы себя матерью сатаны, если бы им это было нужно.

Она засмеялась, но в этом смехе не было веселости.

– Но под конец она от всего отказалась, желая, чтобы ее сожгли вместе со мной. Бедная! Несколько дней ей удалось отдохнуть дома. Сегодня утром, когда мы готовились к казни, он в последний раз спросил меня. Остальное вам известно. Увы! У меня нет таких доказательств, которых, как мне говорили, вы ищете. Я боюсь, что вы рискнули слишком многим, избавив меня от костра, – закончила она, взглянув на меня со страхом.

– Полноте, сеньорита. Разве может мужчина рисковать слишком, если ему представляется случай спасти невинную девушку. Не бойтесь, для опасности не настало еще время. Но скажите мне, хотя это вам и неприятно, скажите мне, как вы сказали бы вашей матери: не оскорбил ли вас когда-нибудь инквизитор? Вы женщина, притом красивая, а он мужчина. Скажите, не оскорблял ли он вас взглядом или словом.

Она покраснела, как мак.

– Когда меня готовили к пытке, он стоял возле и смотрел. Впрочем, они все пожирали меня глазами, – прибавила она с гневом. – Во время, пытки, когда я почти потеряла сознание и Якоб Питере спросил, продолжать ли пытку, – я еще могла слышать, хотя глаза мои были закрыты, – инквизитор подошел и дотронулся до меня. Впрочем, он, может быть, хотел удостовериться, что мне действительно не причинено никакого вреда.

Я, однако, был уверен, что дело было не в одном этом. Очевидно, почтенный отец тут был не без греха, хотя и остановился на полдороги. Теперь он был в моих руках. Его, очевидно, охватила неуверенность в своем деле, а когда грешного человека охватывает такая неуверенность, он пропал.

– Это все, сеньорита? – спросил я, желая проверить свои подозрения.

Она пристально посмотрела на меня с минуту. Затем, очевидно, дурно истолковав мои слова, сказала, сверкнув глазами:

– Если бы было еще что-нибудь, то я не стояла бы здесь перед вами. Я не осталась бы в живых. Я знаю свой долг по отношению к моей семье и самой себе.

– Я не предполагал чего-нибудь дурного, – возразил я. – Но ведь все могло быть. Может быть, вы и правы. Но если бы все думали, как вы, то немало девушек покончили бы с собой в Голландии. Да и не в одной Голландии.

Она вздрогнула и стала смотреть в сторону.

– Да помилует их Господь! – прошептала она. – Я не осуждаю тех, которые не нашли в себе достаточной твердости. Разве я могу сказать, что найду ее в себе. И однако мне кажется, что я ее нашла, – прибавила она с гордостью.

Я подумал про себя, что она права.

– Я тоже так полагаю, сеньорита, – отвечал я просто. Я любовался вдвойне – и ее сомнением, и ее уверенностью в себе.

Несколько минут мы оба молчали.

– Благодарю вас за все, что вы мне сообщили, – произнес я наконец. – Я понимаю, как все это было вам неприятно.

– Вы получили право спрашивать меня даже о самых неприятных для меня вещах, – отвечала она тихо.

– Позвольте уверить вас, что к этому мы больше никогда не вернемся. Но я должен сообщить вам, почему я заставил вас ждать, что мне было весьма неприятно. У меня в руках имеются надлежаще засвидетельствованные показания Бригитты Дорн и Анны ван Линден, но не те показания, на которых основывался весь процесс в юридическом, по крайней мере, смысле. Конечно, на деле и без их свидетельств вышло бы то же самое. Нет ничего легче, как,

доказать, что та или другая женщина – ведьма. Достаточно, если около нее заболеет какое-нибудь животное или умрет на соседней улице ребенок. Умер ребенок – значит, его убила ведьма. Если он поправился – значит, оттого, что ведьму вовремя арестовали! А кроме того, есть еще и пытка. Если она сознается – отлично; если не сознается, то, значит, дьявол заградил ее уста. И в том и в другом случае доказательства налицо. Но возвратимся к нашим двум женщинам. В этой бумаге они сознаются, что их показание было ложно, и указывают сумму, которую они получили от инквизитора. К несчастью, этот документ не имеет большой важности для дела, потому что обе они были только орудием. Если отец Балестер мог заставить их сказать одно, то я смог заставить их сказать другое. Это только одно звено в цепи, хотя это отняло у меня больше времени, чем я ожидал.

Я прочел ей признания – только первые. О вторых я пока не сказал ей ни слова, ибо это, несомненно, оскорбило бы ее.

– Я еще раз должна поблагодарить вас, – сказала она, когда я кончил читать. – Я удивляюсь, как вам удалось заставить их подписать приговор самим себе.

– Я главный начальник здесь, – отвечал я холодно. – Впрочем, я должен сознаться, что в этом деле я прибег к военной хитрости, хотя мог принудить их к тому силой. Но как бы то ни было, мне удалось мирным путем уговорить их сказать мне все и подписать эту бумагу прежде, чем они успели сообразить, в чем тут дело. Они были страшно поражены, когда поняли ее смысл.

– Они сделали ужасное дело. Но теперь я не желаю им за то зла.

– Это у вас пройдет, – серьезно сказал я. – Такие чувства надолго не остаются.

– Может быть, но это очень жаль, не так ли?

Я не отвечал... На несколько секунд опять водворилось молчание.

– Мой дядя просил меня передать вам, что члены городского совета просят вас удостоить своим присутствием их собрание сегодня вечером, но что он и Изабелла почли бы за особую для себя честь, если бы, вы согласились разделить с ними сегодня их ужин. Позвольте мне от их имени попросить вас об этом.

Я отлично понимал ван дер Веерена. Он, очевидно, боялся, что милейшие члены совета, потеряв голову от утренних событий и вечерних возлияний, могут наделать глупостей. Я сам был уверен, что так и будет. Так как приглашение на вечер шло не через него, то от него легко было отказаться, тем более что я не постеснялся бы даже навлечь на себя неудовольствие гертруденбергских старейшин, если бы это оказалось необходимым.

Я решил послать вместо себя дону Рюнца, он не особенно хорошо понимал голландски, и это было как раз кстати.

– Благодарю вас, – отвечал я. – Я с удовольствием принимаю это предложение. Надеюсь, что буду иметь честь видеть и вас за столом?

– Если вы разрешите.

– Разрешу ли я? Я могу только, просить вас об этом.

– Я ведь ваша арестантка, сеньор, – возразила она, улыбаясь особенным, ей свойственным образом.

– Да, конечно, по виду это так, сеньорита. Но сам я никогда не считал вас арестанткой.

– Я с удовольствием исполню ваше желание, сеньор. Не угодно ли вам следовать за мной.

И, сделав рукой знак, она пошла вперед.

За столом мы сидели только вчетвером. Старик ван дер Веерен с манерами настоящего вельможи, его дочь, с губ которой не сходила гневная улыбка, мадемуазель де Бреголль, серьезная и подавленная, но тем не менее очаровательная, и, наконец, я, губернатор короля Филиппа, наделенный обширными полномочиями, я, державший в своих руках честь и даже жизнь всех сидевших за столом и в то же время вынужденный соблюдать крайнюю осторожность в словах, чтобы не встретиться с саркастической улыбкой донны Изабеллы, которой, по-видимому, так и хотелось дать мне понять, что я злоупотребляю своей властью.

Свечи в дорогих венецианских подсвечниках ярко горели над нашими головами. Их огонь играл в бесподобных бриллиантах донны Изабеллы, которые сверкали у нее на шее и в волосах. Они были так же красивы и так же холодны, как и их владелица.

Не таков был золотистый рейнвейн, который она хвалила за обедом. Он скоро прибавил тепла моему седобородому хозяину и нашим прекрасным дамам.

– Ваше превосходительство приступом взяли сердца всех в нашем городе, – сказал ван дер Веерен. – Нет ни одной улицы, где бы я не слышал, как вас хвалят.

– Даже малыши начали играть в дона Хаима, – вскричала Изабелла. – Я сама видела, как они играли на Водяной улице и еще местах в двух. Они никого не забывают. У них был воткнут в землю деревянный шест вместо эшафота, а к нему была привязана маленькая девочка, изображающая Марион. Перед ней лежал пук соломы, которую якобы поджигал отец Бернардо. Его можно было узнать по белому полотенцу и какой-то черной тряпке вместо одеяния. Потом мальчуган, которому выпала честь изображать вас, бросился смело вперед, потушил огонь и отвязал девочку. В конце всего отец Бернардо удалился, пораженный немилостью. Все это они проделали очень живо и осмысленно. Впрочем, в одном месте, кажется, это было на улице Венеры, платье маленькой девочки вспыхнуло, и комедия окончилась трагедией. Вы стали весьма популярны, сеньор.

– Чрезвычайно этим польщен, сеньорита. Но не следует поддаваться этому чувству, это опасно для нас всех. Такого рода энтузиазм не очень похвален в Мадриде. Прошу вас, сеньор, – обратился я к ван дер Веерену, – употребить все ваше влияние, чтобы положить этому конец. Иначе мне придется позаботиться об этом самому и таким образом потерять то доброе мнение, которое сложилось обо мне у жителей города Гертруденберга.

– Дону Хаиму де Хорквера не нужны голландские сердца, – сказала Изабелла с загадочной улыбкой. – Пусть это будет предостережением для вас, кузина. Мы должны остерегаться, как бы одушевляющие нас чувства благодарности не завлекли нас слишком далеко.

Мадемуазель де Бреголль не вспыхнула, как я ожидал. На лице ее мелькнуло выражение, которого я не мог понять. Она хотела было что-то сказать, но я опередил ее и несколько официальным тоном произнес:

– Я уже имел честь заявить мадемуазель де Бреголль, что я и не заслуживаю никакой благодарности. Для того чтобы завоевать сердца, человек моего положения не может всегда действовать так, как ему бы хотелось.

Донна Марион подняла на меня глаза и спокойно сказала:

– Вы не можете требовать ни благодарности, ни любви, не можете требовать и ненависти. Вы можете только принимать или не принимать их там, где найдете их на своем пути.

Сначала я не знал, что ей ответить на это. Из этого затруднения меня вывела донна Изабелла, не выдержавшая молчания.

– Справедливость есть награда сама по себе, – произнесла она саркастическим тоном. – Я совсем было забыла об этом.

– Совершенно верно, сеньорита, – холодно поддакнул я.

– Жители Гертруденберга в настоящее время воодушевлены только чувствами удивления и признательности к вам, – серьезно и деловито вмешался ее отец. – И в своем подчинении вашим желаниям они проявят лишний раз эти чувства.

– Благодарю вас, – отвечал я. – Так будет лучше для всех нас. А затем извините меня, если я сегодня покину вас раньше, чем мне хотелось бы. До наступления ночи мое время принадлежит другим. Позвольте мне поднять бокал за здоровье мадемуазель де Бреголль. Пусть лучшие дни заставят ее забыть все то, что было!

– Благодарю вас, сеньор, но едва ли когда-нибудь я смогу их забыть. Да, пожалуй, и не захочу, – тихо прибавила она.

Наш хозяин снова налил вина.

– А теперь за ваше здоровье, сеньор, – произнес он. – Пусть благополучие не покидает вас за все, что вы сделали сегодня.

– За исполнение ваших сердечных желаний, – вскричала донна Изабелла, поднимая свой бокал. – Я не могу сказать ничего другого. Мы ведь бедные голландские девушки, и наши мысли не могут парить так высоко, как ваше честолюбие.

Мы опорожнили бокалы, и я сказал:

– Теперь я должен идти. Я боюсь, что общество отца Балестера не будет для меня особенно привлекательным после таких собеседниц, но я должен заставить его подписать признание во всех его грехах. Прошу извинения, если потревожу ваш покой ночью – я, вероятно, вернусь должен буду написать еще несколько бумаг, которые отослать завтра утром. Я взглянул на часы:

– Уже десять часов. Отец Бернардо, вероятно, голоден. У него еще ничего во рту не было с утра. Впрочем, пост – превосходное средство для покаяния.

– Если у него были дурные намерения, то я боюсь, что он не сознается, – сказала Марион.

Я рассмеялся:

– Не сознается? Не сознается в этом добром городке Гертруденберг, которым я управляю уже с девяти часов утра? Это невозможно, сеньорита.

Она вдруг побледнела, потом покраснела.

– Могу я обратиться к вам с одной просьбой, сеньор? – спросила она.

Мой ответ прозвучал торжественно:

– Вы можете приказывать мне все, что не противоречит моему долгу и вашим собственным интересам, сеньорита.

– Отец Балестер причинил мне, видит Бог, жестокие страдания. Но я не хотела бы, чтобы с ним поступили так, как поступил он со мной. «Воздавай добром за зло», – сказано в Священном писании.

Я опять взглянул на нее с изумлением. Действительно, они недаром хвалятся этой еретической религией. Это не мертвая буква, а живое слово, которому они повинуются, невзирая на то, будет ли это очень легко или очень трудно, благоразумно или безумно. В этом их сила и слабость одновременно.

– Не бойтесь, – отвечал я. – Он не испытает и десятой доли того, что заслуживает. Но позвольте мне дать вам один совет: не прибегайте к цитатам из Священного писания. Лично я не питаю ни малейшего сомнения в вашем правоверии, точно так же, как и в вашем, сеньор ван дер Веерен, и в вашем, сеньорита, – прибавил я с поклоном, бросив при этом на них такой взгляд, от которого краска сбежала с их лица. – Но ничто так не навлекает подозрения в том, что человек перестал быть хорошим христианином, как эти заимствования из первоисточника христианства. Мы, профаны, не смеем пользоваться словами Христа без разъяснения их церковь! Иначе для чего же существует церковь?

После моих слов водворилось молчание. Я воспользовался случаем, сделал общий поклон и вышел.

Позвав Диего, я приказал ему отыскать мой другой плащ. Вечер был холодный и сырой. Плащ, который был на мне утром, перешел на плечи мадемуазель де Бреголь и остался у нее. Затем я приказал Диего следовать за мной, и мы оба вышли.

Улицы были пустынные. Собирался туман. Слово черные гиганты, высились дома с освещенными кое-где окнами. На всем лежал отпечаток уныния.

Невольно мои мысли унеслись в Испанию – к ее ярким ночам и к веселой толпе, заполняющей залитую светом площадь. Здесь же – ничего, кроме серого тумана и угрюмого молчания. Вода в каналах казалась черной, а сами они бездонными. Впереди все было серо и загадочно.

– Ну, Диего, – сказал я, остановившись на повороте; черные крыши домов выглядели все одинаково, словно пятна во мраке, – тут не то, что в Кордове!

– Совершенно верно, сеньор, – ответил тот. – Там, коли уж привяжут кого к столбу, так уж и сожгут непременно, а здесь иногда приходится и отвязывать. Но я боюсь, что показанный вами пример не будет поддержан, сеньор.

Я едва не расхохотался. Диего всегда обращается к фактам и никогда не считает нужным в них вникать.

– Нет, Диего, этого я и сам не желаю. Ну вот, мы и пришли.

Улица была совершенно пуста. Мне не хотелось показывать, что я могу прибегнуть к силе. Достопочтенный отец убрался сегодня утром в полной опале, как будто бы он был не более как самый заурядный монах. Но был ли он инквизитором или нет, он все же оставался духовным лицом, имеющим больше прав на уважение, чем мы, грешные люди.

Тем не менее его жилище находилось под надежным караулом, и только тогда, когда я назвал себя, дверь медленно и неохотно отворилась и пропустила меня. Барон фон Виллингер был неглупый человек и сумел меня понять как надо. Я нашел его перед самой дверью в комнату инквизитора. Он играл в кости со своим лейтенантом.

Можете говорить против немцев что угодно, но когда они обещают что-нибудь, они непременно исполняют это. Немецкие ландскнехты считаются самыми беспринципными и самыми худшими из головорезов всех национальностей, которые нанимаются на службу за деньги, однако они делают свое дело и держатся при этом своих собственных принципов и такой добропорядочности, какой позавидовали бы и более высокопоставленные люди.

Таков был этот барон фон Виллингер. Он умел не хуже других жечь и грабить города и продавать свои услуги тому, кто больше всего за них предложит. Он моментально оставил бы герцога Альбу, если бы принц Оранский захотел платить ему больше. Он был способен убить человека из-за пустяка, если бы почувствовал себя оскорбленным. Но вместе с тем он глазом не моргнув мог нести свою службу целыми днями и считал ниже своего достоинства отлучиться с нее именно потому, что я доверился ему и он дал мне обещание. Он даже не успел выпить ни капли, что в данном случае было с его стороны большим самопожертвованием.

– Барон Виллингер, – сказал я более теплым, чем обыкновенно, тоном. – Благодарю вас. Мне очень досадно, что пришлось поручить вам это дело. Но, кроме вас, не было другого подходящего для этого человека. В вознаграждение за это я приготовил вам квартиру в одном из лучших домов города.

– Не за что благодарить меня, дон Хаим, по крайней мере, вам. Вы сказали, что нужно исполнить то-то и то-то, и все исполнено. За это нам и платят деньги. Кроме того, мы, как видите, устроились здесь комфортабельно.

И он показал на стол, где стояли остатки яств и две или три пустых бутылки.

– Было вовсе не так скучно, – продолжал он с улыбкой. – Святого отца, по-видимому, очень терзали плотские желания, ибо в половине первого он довольно высокомерно потребовал завтрак. Я ответил ему, что на этот счет я не получил от вас никаких распоряжений, а что я лично, как еретик, могу предложить ему, быть может, неподобающую пищу. Сегодня ведь пятница. Мы, то есть я и герр Шварцау, прекрасно закусили. Были рыба, заяц и две бутылки рейнского вина. В этих местах недурно готовят. Почувствовав, что с ним говорят вежливо, святой отец вступил было в переговоры и предлагал даже заплатить за свою долю. Но я, боясь за спасение его души, не решился принять на себя ответственности. После этого он стал говорить серьезно, предлагая мне и герру Шварцау по тысяче крон, если мы отпустим его на свободу. Мы спросили, где же у него деньги. Золото ведь очень вредно для святого человека. Он отвечал, что при нем денег нет, но что если мы пойдем вместе с ним, то он даст нам их. Он, конечно, не сказал, откуда он их раздобудет. Когда же мы отказались идти с ним, он стал угрюм и прекратил разговор. Вот и все, что здесь было. Я пожал ему руку:

– Еще раз благодарю вас, барон Виллингер; я не забуду вашей услуги.

Теперь вы свободны, я хочу сам поговорить немного с достопочтенным отцом. Ваши люди должны остаться здесь. Они еще не устали, не правда ли?

– Караул сменился в десять часов.

– Отлично. Кто теперь останется на дежурстве?

– Фон Эвердинген, если вы смените нас.

– Он не уснет?

– Не беспокойтесь, дон Хаим. В эту, по крайней мере, ночь он не уснет, – со смехом отвечал фон Виллингер. – Его мать сожгли, когда он был еще ребенком, и хотя человек не может постоянно думать о таких вещах, но это дело живо напомнило ему далекое детство. Он всегда отличался большой впечатлительностью. Задремав сегодня после обеда, он видел во сне, будто она пришла к нему и сказала: «Фриц, твою мать сожгли, а сегодня ты готов был помогать сжечь такую же невинную, какой была твоя мать. Ты помогаешь сильным мира сего истреблять народ Господень. Что же ты скажешь на Страшном суде, когда придется отвечать за их жизнь?» Как видите, дон Хаим, вы, католики, и мы, еретики, одинаково считаем себя избранныками Божьими. Кто тут прав, не сумею вам сказать. Я как умел утешил малого, ибо он в конце концов все-таки славный парень. Нам ведь платят и потому приходится делать то, что велят, а не рассуждать, что правильно, а что неправильно. Кроме того, мы должны уповать не на свои дела, а на милосердие Божие. Я верую, что Господь не оставит без внимания и наше ремесло, которое не очень-то оставляет нам время на то, чтобы советоваться со своей совестью. Итак, я утешил малого, как я уже сказал. Он, впрочем, не очень ободрился вследствие такого странного стечения обстоятельств в эту ночь. С таким настроением, какое у него теперь, он будет зорко стеречь отца Бернардо. В этом вы можете быть совершенно уверены, дон Хаим.

– Тем лучше, – сухо отвечал я. – Еще раз благодарю вас и желаю вам спокойной ночи. Вам отведено помещение в доме богатого судовладельца ван Сиринга. Он ждет вас.

Я постучал в дверь, ведущую в комнату инквизитора, и вошел.

– Добрый вечер, ваше благословение, – сказал я. – Надеюсь, что с вами обращались со всей почтительностью, какая подобает особе вашего сана.

Он медленно поднялся с кресла, стоявшего около стола.

– Мне даже не дали пищи, сеньор, – отвечал он, свирепо сверкнув на меня глазами. – Я с утра ничего не ел.

– Неужели? – вскричал я беззаботным тоном. – Сегодня у нас пятница. Припомните. Господь Бог постился в пустыне сорок суток. Кроме того, я полагал, что такие святые люди, как вы, находят особое наслаждение в посте и молитве и чудесным образом получают от этого больше силы, чем мы, грешные люди, от самого сытного обеда.

В его глазах показался какой-то стальной блеск.

– Вы издеваетесь надо мной, – процедил он. – Но будьте уверены, за каждую обиду вам учинит возмездие и Господь Бог, и святая церковь, и воздаст вам за все десятирицею. Огонь ожидает вас в здешнем мире и в загробном. Благодаря этой женщине, которая очаровала ваши глаза, вы оскорбили и Господа Бога, и святую церковь. Горе вам, горе! Наказание не замедлит настигнуть вас, хотя бы чувствовали себя в полной безопасности. И гордыня ваша, которую вы обнаружили сегодня, сломится, яко тростник перед гневом Господним!

По мере своей речи он все более и более входил в гнев. Осенив себя крестным знаменем и повысив голос, он изрек анафему, которую не решился произнести сегодня утром.

– Да будет на вас проклятие денно и ночью, когда вы в постели и в путешествии, в городе и в поле. Аминь. В час досуга и в час битвы. Аминь. В час скорби, в час радости, в час любви. Аминь. Горький час да будет для вас горчайшим, сладкий час – горьким всей горечью проклятия! Как вы изменили церкви, так пусть изменит вам женщина, которую вы любите. Пусть наследуете вы скорбь в этой жизни и муку в будущей, во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!

При последних словах голос изменил ему и как-то странно задрожал.

Я слушал его спокойно, сложив руки и улыбаясь. Мне давно хотелось слышать что-нибудь подобное, для того чтобы уверить – не себя самого, в этом не было никакой надобности – а некоторых своих приятелей, что слова остаются только словами и что человек может гордо пройти по жизни, не боясь их и не смущаясь ими. До сего времени мне не приходилось слышать ничего подобного.

В данном случае эти слова ничего не стоили: ведь, кроме нас двоих, их никто не мог слышать. Вот почему я выслушал их с большим удовольствием.

Мое спокойствие и улыбка совсем обескуражили монаха. Голос его пресекся, и он смотрел на меня во все глаза с выражением и бешенства, и в то же время страха.

Что он прочел на моем лице, я не могу сказать. Быть может, ему показалось, что перед ним сам дьявол.

Как бы то ни было, но он вдруг побледнел и опустил руки. Потом вдруг сделал последнее усилие, чтобы вновь занять потерянные позиции, и крикнул:

– Нечестивец, не боящийся ни Бога, ни церкви, но еще не потерявший страха перед королем. Ему все будет известно!

– Не думаю, чтобы это стало ему известно от вас, достопочтенный отец, – отвечал я спокойно.

Монах переменялся в лице, но старался не терять мужества. Он понимал, что только таким путем он может спасти свое положение. Вероятно, он не думал, что я могу зайти так далеко и, очевидно, упрекал себя в том, что так легко уступил мне сегодня утром.

– Моя судьба в руках Божьих, – сказал он. – Он, в винограднике которого я трудился, Он Сам защитит меня. Я буду призывать Его.

С этими словами он сел, положил руки на колени и стал смотреть в сторону.

Я поглядел на него с минуту и сказал:

– На вашем месте я не стал бы призывать Господа Бога. Что если Он уличит вас в неправде? Вот здесь у меня есть признание двух женщин, которым вы заплатили за их обвинительные показания. Это вы тоже трудились в винограднике Господнем?

– Будьте вы прокляты! – вскричал он. – Да падет проклятие на вашу голову. Ведь нетрудно заставить подписать признание кого угодно, если власть в ваших руках!

– Так ли это, достопочтенный отец? Не угодно ли вам познакомиться с этим признанием?

– Призываю Господа Бога в свидетели! Моя совесть чиста.

Однако в его голосе опять послышалась неуверенность, которую он изо всех сил старался подавить.

– Так ли это достопочтенный отец, – повторил я. – Подумайте хорошенько. Возбудили ли вы процесс против этой дамы только потому, что были уверены в ее виновности или же по каким-нибудь иным причинам? Хотелось ли вам сжечь только грешницу, или же и прекрасную женщину? А может быть, вам было очень приятно, что она стояла перед вами и вымаливала свою жизнь, – она, которая была всегда так холодна с вами? Искушение было слишком велико. Да и дьявол, может быть, подсказал вам, возбудил в вас желание порадовать ваши глаза? Вспомните хорошенько, достопочтенный отец. – Не останавливались ли с особенным чувством ваши пальцы на ее гладкой коже, чтобы освидетельствовать ее сердце, в то время как вы подвергли ее пытке и она лежала в обмороке? Вы знали, что опасности тут не было, да и не ваше это было дело. Неужели все это – труды в винограднике Господнем? Подумайте хорошенько, достопочтенный отец! Разве не видно, что вы решились в сердце своем овладеть ею. Иначе зачем вам было обещать ей свое покровительство. Зачем заставляли ее исповедоваться перед вами? Зачем было вам щадить ее? Оказывать такое милосердие ведьме! А когда оказалось, что овладеть ею вам не удастся, вы решились пойти на это силой, хотя и не осмелились применить ее сами. Каждый вечер дьявол, очевидно, нашептывал вам, что вы слабый человек, пока вам наконец стало не под силу ждать. И вы приговорили ее к сожжению не потому, что она была виновна, но потому, что вы не решались оставить ее в покое. Вы боялись, что она разгадает тайный смысл ваших слов, поймет ясно ваши намерения. И вот вы стали уверять самого себя, что, без сомнения, она ведьма, если ей удалось увлечь вас на такое дело. Но верили ли вы этому в глубине вашего сердца? Действительно ли ваша совесть чиста? Подумайте хорошенько, достопочтенный отец! Повторяю, на вашем месте я бы не призывал Господа Бога.

Помимо своей воли, монах во время этой речи поднял на меня глаза. Они впились в мои, словно он был заморожен мною. Когда я кончил говорить, он вздрогнул, как бы очнувшись от забытья, и, перекрестившись, пробормотал хриплым голосом:

– Сатана! Чур меня!

– Сатаной нельзя так распоряжаться, достопочтенный отец. Он не обращает внимания на заклинания своих служителей. Мы только зря теряем время, – прибавил я, помолчав с минуту. – Не пожелаете ли вы написать письмо вашему духовному начальству и принести в нем раскаяние во всех своих грехах, о которых я вам говорил и которых вы не отрицали?

– Но я не совершал таких прегрешений!

– Совершали, достопочтенный отец. Что имеется в ваших руках для опровержения моих слов? Итак, потрудитесь написать письмо, ничего не утаивая и не умалчивая о том, что вы пытали свою жертву, зная, что она невиновна. Добавьте и то, что вы не остановились перед убийством ребенка, для того чтобы доказать справедливость воздвигнутого вами против нее обвинения. Добавьте также, что вы видите в сегодняшнем происшествии перст Господень и что дьявол получил над вами такую власть, что заставил вас поддаться страсти и забыть свой долг, то есть выискивать богатых еретиков, при аресте которых церковь могла бы извлекать немалую выгоду. Вы закончите письмо тем, что признаете себя с этого времени неспособным к исполнению обязанностей инквизитора и попросите наложить на вас соответствующее взыскание.

Выслушав меня молча, монах сделал последнее усилие спасти себя.

– Вы с ума сошли, сеньор. Уж если кому надо сознаваться, то только вам, когда чары утратят свою силу над вами. Тогда вы...

Тут его глаза встретились с моими, и он сразу смолк. Я до сих пор не знал, что насмешливое выражение моих глаз имеет такую силу.

– Довольно! Не будем больше говорить об этом. Вам не удастся обмануть ни меня, ни дьявола. Лучше напишите письмо.

– Неужели вы думаете, что я лишился ума.

– О нет. Я считаю вас человеком в здравом уме, который отлично понимает, что необходимо сделать иной раз в жизни. Осуждение мадемуазель Бреголь было

необходимо для вас, но вы слишком замешкались с ним, и теперь все переменялось. Не соблаговолите ли начать письмо?

– Нет, этого я не желаю. Вы не имеете право принуждать меня написать хоть строчку, если я того не пожелаю.

– В самом деле? Могу вас уверить, что пытка превосходно помогает в таких случаях. Я просто очарован ею сегодня. Видно, что ею управляет мастер своего дела, – прибавил я с поклоном. – Отсюда до нее всего несколько шагов. Караульные – люди, как вам уже известно, безбожные и смотрят на всякого монаха так, как мы с вами смотрим на обыкновенного грешника.

Мой собеседник побелел как полотно.

– Вы, однако, дали обещание пощадить меня.

– Да, конечно. Но только в том случае, если вы сделаете свои признания. Фра Николай Эмерик в своем руководстве для инквизиторов указывает, что действительный смысл обещания помиловать очень часто неправильно понимается теми, кто дорожит только делами мира сего, ибо помилованием надо считать все, что приводит грешника к раскаянию. Вы, конечно, читали это благочестивое сочинение фра Эмерика?

– А я и не знал, что вы так сведущи в литературе об инквизиции, – сказал он, скривив губы.

– Мой дядя – инквизитор в Толедо. Он очень любил меня и постоянно носился с мыслью, что я со временем вступлю в орден и займусь тем же делом. Но по семейным обстоятельствам план этот не осуществился. Дядя многому научил меня. Я чувствую к нему живейшую благодарность за это, ибо теперь я знаю, как мне поступать, чтобы совесть моя была совершенно чиста.

Монах молчал. С минуту я смотрел на свою жертву.

– Можете быть спокойны, я обойдусь без помощи Якоба Питерса. Мне было бы крайне неприятно видеть почтенного служителя церкви в руках обыкновенного палача, равно как и молодую женщину. Но я сам умею обращаться с

инструментами, а помогать мне будет мой слуга.

Я позвал Диего.

– Умеешь ты обращаться с орудиями пытки?

– Очень хорошо. Будьте спокойны, я могу работать не по-любительски. Я не люблю эту работу. Но раз вы желаете, все будет сделано. Прикажете приступить к делу?

Монах стоял перед нами со стиснутыми кулаками. Лицо его дергалось. Он, очевидно, старался подготовиться к пытке, но это плохо ему удавалось. Все тело его тряслось, так что ему пришлось сесть.

Несколько минут он сидел. Наконец, не глядя на нас, он сказал сдавленным голосом:

– Давайте бумагу.

– Вот она достопочтенный отец. А вот перо и чернила. Садитесь сюда в кресло, так вам будет удобнее. Прошу вас не торопиться. Не беспокойтесь о том, что вы меня задержали. Я поужинал в десять часов и не чувствую себя утомленным.

Он бросил на меня злобный взгляд и начал писать.

– Пожалуйста, не забудьте ничего. Не забудьте упомянуть, что вы знали о невинности этой молодой женщины, когда подвергали ее пыткам. Упомяните и о том, что вы не пренебрегали богатыми еретиками. Так будет хорошо, – прибавил я, взглянув через плечо на то, что он написал. – Теперь будьте любезны сделать с этой бумаги две копии – одну для меня, на память, а другую для главного инквизитора.

Монах, не сказав ни слова, взял другой лист бумаги.

– Благодарю вас, – промолвил я, когда он кончил писать, и спрятал оба документа в карман.

Усевшись затем, я спокойно продолжал:

– Покончив полюбовно наши дела, мы можем перейти теперь к главному пункту, то есть к вопросу о том, что мне с вами делать. К несчастью, я не могу отпустить вас с миром, как хотел бы, несмотря на те признания, которые вы здесь подписали. Было бы несправедливо бы сказать, что эти признания вырваны у вас силой, но тем не менее ничто не мешает вам пустить такой слух, и народ может этому поверить. Следовательно, для предупреждения этого нужно что-нибудь сделать. Нужно только обсудить, что именно сделать. Разумеется, лучше всего было бы покончить с вами совсем. Это можно было бы сделать различными способами, из которых каждый имеет свои преимущества. Я мог бы отравить вас, а потом сказать, что вы скончались от лихорадки. Голландия, как вам известно, очень сырая страна. Или можно было бы увезти вас куда-нибудь и там убить – дороги очень небезопасны и кишат еретиками. Или еще можно было бы выпустить отсюда кого-нибудь другого в вашем одеянии – нетрудно подыскать какого-нибудь чувственного и фанатического плута, похожего на вас, – а вас самого задержать здесь навсегда и уморить голодом. Для меня этот план представляется наиболее соблазнительным. Что вы мне в данном случае рекомендуете?

Он дико глядел на меня. На лбу его выступили крупные капли пота. Только теперь он сообразил вполне, каково его положение.

– Мне очень хотелось бы слышать ваше мнение, ибо вы человек практичный. С другой стороны, – продолжал я, бросив на него испытующий взгляд, – я иногда представляю себе, как вы вернетесь к своим собратьям после такого признания. Для инквизитора это будет не совсем обычное возвращение. Я, конечно, не мог бы присутствовать при этом, однако я мог бы получить об этом подробные сведения. Но нужно сначала подрезать вам когти. Нужно, чтобы вы не могли и пальцем пошевелить против меня, не всунув сначала в тиски собственную руку.

Он вытер пот со лба.

– Что же я могу сказать? Я уже признался, что же еще нужно от меня?

– Итак, вы сознаетесь? Свободно и без принуждения?

– Да, я подтверждаю это. Все мы грешны. Но для чего заставлять меня повторять все это?

– Только для успокоения моей собственной души. Впрочем, как я вам уже указывал, все это еще не дает вам ручательства в вашей безопасности. Нет ли в вашей прошлой жизни каких-нибудь фактов, которые вы храните в тайне, – конечно, для того, чтобы от этого не пострадала слава святой церкви, – но о которых вы могли бы сказать мне здесь как на духу? О них, конечно, стоило бы поговорить, если это что-нибудь более серьезное, чем пытка молодой девушки.

Он взглянул мне прямо в глаза:

– Я более ничего не знаю.

– В самом деле? Ну, тогда мы должны вернуться к нашему предыдущему разговору. Отдаете ли вы предпочтение тому или другому роду смерти? Что касается меня, то мне хотелось бы видеть вас на костре, но это всегда вызывает в народе такое волнение. Поэтому я предоставляю это дело вашему собственному вкусу.

– В прошлом году я соблазнил одну деревенскую девушку...

Я рассмеялся:

– Полноте, достопочтенный отец, не смешите меня такими пустяками. Неужели вы принимаете меня за ребенка? Ни один монастырь не станет обращать внимание на такие мелкие прегрешения, неразлучные с вашим званием.

– Спросите его, кто обокрал алтарь Святой Девы в церкви Святого Фирмэна в Лилле, сеньор, – неожиданно произнес Диего своим горловым тембром.

Монах вздрогнул и уставился на него, как будто перед ним явилось привидение. Я тоже с удивлением взглянул на Диего.

– Да ведь Рауля Кавальона подвергли пытке, и он умер в тюрьме, – пролепетал монах, продолжая смотреть на моего слугу.

– Ошибаетесь, достопочтенный отец. Он ускользнул и еще жив. Бог сохранил его для того, чтобы сделать своим орудием сегодня и через него исполнить свое правосудие.

Инстинктивно монах по привычке поднял руку, словно собираясь заклятием прогнать привидение. Но пальцы не слушались его.

– Проклятие! – захрипел он. – Проклятие! Я пропал! Нет больше моих сил.

– Четырнадцать лет тому назад, – начал Диего своим спокойным, без интонаций, голосом, не глядя на монаха, – в Лилле жила прекрасная и добродетельная девушка. Этот человек погубил ее. Каким образом – это теперь не важно. Она пала. Но монах боялся ее жениха, ибо тот был южанин, с горячей кровью, и однажды убил человека, который был груб с его невестой. Поэтому, чтобы спасти себя, монах решил погубить и этого человека. Возвращаясь с работы домой – жених этот был оружейником, – он, как добрый католик, каждый вечер останавливался на минуту в церкви Святого Фирмэна. В один прекрасный вечер он молился особенно долго и горячо: он чувствовал, что на него готова обрушиться беда, но еще надеялся на помощь Богородицы и всех святых. Церковь в этот час была пуста и темна, но если бы там было и много народу, он этого бы не заметил. Вдруг он почувствовал, как кто-то крепко схватил его и поволок к алтарю Святой Девы. Церковь огласилась громкими криками об убийстве и святотатстве. У подножия алтаря лежал мертвый настоятель. В груди его торчал кинжал работы этого самого оружейника.

Рака Святой Девы, украшенная многочисленными дорогими приношениями, была открыта и пуста. Перед оружейником стоял монах и обвинил его в убийстве и святотатстве. Все это казалось оружейнику сном. Когда он очнулся и хотел протестовать, его уже вели в тюрьму. Кругом бушевала разъяренная толпа, от которой стража едва могла защитить его. Суд над ним был недолог. Разве монах не показывал против него? Разве он не был родом из еретической Наварры, хотя и числился добрым католиком? Кто мог ему верить? Его осудили, пытали и приговорили к смерти. Он, однако, убежал и полумертвым был найден на дороге одним господином, который, не задавая ему никаких вопросов, спас ему жизнь.

– Сокровища раки Святой Девы найти не удалось, – прибавил он, помолчав. – Может быть, достопочтенному отцу лучше известно, где они теперь.

Доминиканец слушал этот рассказ словно в каком-то забытьи.

– Ага, вот так история, отец Балестер! – воскликнул я. – Я почти был уверен, что за вами что-нибудь да есть. Теперь вспоминаете? Полагаю, что сокровища из раки Святой Девы у вас еще целы, – иначе вся история теряет свой интерес. Может быть, вы потрудитесь изложить ее письменно. Впрочем, как вам угодно. Если вы предпочитаете устранить все затруднения относительно вас, так как я вам только что предлагал, то я не вижу к этому никаких препятствий. Взвесив все, я даже думаю, что так будет лучше всего.

Он был совершенно разбит. Не возражая ни слова, он взял перо.

– Подождите, – сказал я, остановив его жестом. – На этот раз я буду диктовать сам. Так как это будет чрезвычайно важный документ, то нужно постараться, чтобы он вышел и достаточно выразительным. Начнем так:

«Я, отец Бернардо Балестер из ордена Святого Доминика, совершив преступление, в котором не смел даже покаяться, и терзаемый совестью, тем более что много лет, отягченный великим грехом, я совершал божественную литургию, теперь для успокоения совести и побуждаемый неведомой мне силой хочу изложить на бумаге историю моего преступления. Приора церкви Святого Фирмэна в Лилле убил я, а не Рауль Кавальон, которого я обвинил в этом преступлении».

– Я не убивал его, – хрипло перебил меня монах. – Я нашел его мертвым перед алтарем. Тут дьявол вложил мне в голову весь дальнейший план.

– Это вы, может быть, и верно говорите. Я сам считаю вас слишком слабым человеком для того, чтобы совершить в одно и то же время и убийство, и святотатство. Но чтобы не сделать ошибки и обезопасить себя, мы оставим бумагу, как она есть.

– Но ведь я же сознался.

– Может быть. Но ведь в нашем распоряжении только ваши слова. Не приказывал ли ваш духовник вернуть сокровища с алтаря Святой Девы?

– Я не раз хотел сделать это, но всегда что-нибудь мешало. А потом я боялся.

– Отлично. Будем продолжать.

«Приор заподозрил меня в ереси и хотел донести на меня. Поэтому я действительно убил его».

Монах положил перо и взглянул на меня дикими глазами.

– О девице нам лучше ничего не говорить. Мы не знаем, как она теперь живет, и не лучше ли будет не возбуждать никаких разговоров о ней. Кроме того, так выходит сильнее.

– Вы сам дьявол! – сказал он со вздохом.

– Ну нет! – спокойно отвечал я. – Мне хочется только правильно представить дело. Ну, будем продолжать. Вы согласны? Тем лучше.

«Монашеская жизнь нелегка, – продолжал я диктовать. – Монах человек, но он должен быть чем-то большим. Помазание, совершенное над ним, не причисляет его к ангельскому сонму и не освобождает его от желаний, которые вспыхивают в нем так же сильно, как и в других людях, а, пожалуй, еще сильнее. Ему остается только терпеть, а когда он не может бороться – только грешить, и опять терпеть, и страдать за этот грех. Таким образом, ему приходится жить и грешить, грешить и страдать. Почему это происходит? Почему бы священнику, например, не иметь жены? Тогда руки, совершающие причастие, были бы чище, ибо он был бы свободен от плотских вожделений, которые мучают его денно и ночно. Закон о безбрачии духовенства дан не Христом, а папами, которым нужно было иметь армию, не связанную никакими земными связями. Так они приказали. Но не погрешили ли они в данном случае? Разве папа Гонорий I не объявил, что у Христа была только одна воля? Разве эта его доктрина не была осуждена через пятнадцать лет на вселенском соборе в Константинополе? Разве сам он не был признан еретиком и не был осужден, как ересиарх? А еще раньше во время споров, поднятых Пелагием, разве папа Зосимий не выступал с утверждениями, как раз противоположными тем, что приводил его предшественник по святому престолу? Разве император Карл Великий не принудил силой папу Льва принять Никейский символ веры в переводе франкской церкви, в котором Дух Святой исходит не только от Отца,

но и от Сына? Что было бы, если бы папа Лев выгравировал на серебряной доске подлинный перевод и повесил ее на дверях собора Святого Петра? Слова, которые он не хотел допустить, теперь повторяет вся Западная церковь. Таких примеров можно было бы набрать сколько угодно. Неужели Дух Святой внушал все эти заблуждения? Осужденные и отвергнутые одним папой, они принимались и объявлялись истиной другим. Неужели каноны, установленные таким образом, должны нас, связывать навсегда? Поистине нельзя порицать реформаторов, когда они отвергают их. Но дух заковывается цепями, и камнями побиваются те, кто пытается сбросить свои оковы. Неужели не придет такое время, что человек будет носить закон сам в себе, боясь своей совести больше, чем всяких церковных проклятий?»

Доминиканец остановился и искоса взглянул на меня. Лицо его было ужасно.

– Этого довольно, чтобы меня сожгли, – хрипло сказал он.

– Разумеется, – ответил я. – Так, по крайней мере, подсказывает логика.

– Вы сами великий еретик, сеньор.

– О нет! Не утешайте себя такой уверенностью, достопочтенный отец. Я знаю обо всем этом только потому, что получил хорошее образование. Но я никогда не присоединяюсь к таким крайним выводам. Пока сила в руках духовенства, они совершенно бесполезны. Когда же положение изменится, в них не будет надобности. Итак, будем продолжать наше писание.

«Но страх перед костром, до которого дело могло и не дойти и который во всяком случае мелькал только в отдаленном будущем, на минуту пересилил страх передо мной».

– Я не хочу больше писать, – воскликнул он в последнем припадке ярости.

Я пожал плечами:

– Как вам угодно. Я уверен, что, пораздумав хорошенько, я буду в состоянии подыскать для вас тот род смерти, которого вы заслуживаете на основании ваших собственных признаний.

Монах вдруг упал передо мной на колени, забыв и свою гордость, и свой сан. Это была одна тень того, что было раньше.

– Разве всего этого не довольно? Разве мои преступления еще не достаточно велики? Бог видит, как я в них раскаиваюсь. Если плоть немощна, а дьявол силен, разве я в силах устоять против греха? Я молился, но все было тщетно.

– Меня это не касается, – ответил я, пожимая плечами. – Но выбирайте же одно из двух в этом деле.

– Я сделаю все, что вы хотите, только не это. Это ведь ужасно.

– Как? Вы обязываетесь сделать все, что желает еретик, на которого вы наложили самые страшные проклятия. Припомните-ка, достопочтенный отец. Ведь это было всего час тому назад.

– Я беру это проклятие назад. Я его наложил, я же могу его и снять.

Я смотрел, как он извивался в крайнем унижении у моих ног. От пламени свечи его лицо казалось покрытым темными пятнами – так обыкновенно рисуют мучеников. Я никак не думал, что вечер может кончиться такой потехой.

– Вы можете снять проклятие, достопочтенный отец, но не должны этого делать. Я нарочно хотел этого проклятия, чтобы показать вам, чего оно стоит. Не стоит его снимать. Лучше прибавьте к нему еще что-нибудь.

Опять в его глазах мелькнул испуг, и он отодвинулся от меня, как бы боясь прикоснуться ко мне. Медленно и дрожа всем телом, поднялся он с колен. Он понял, что его просьбы тут не помогут.

– Угодно вам писать дальше? – спросил я.

– Угодно, потому что я должен писать. Но если вы не дадите мне торжественного обещания пощадить мою жизнь, то я не желаю писать. Без того обещания заставить меня написать эти ужасные вещи и убить меня – одно и то же.

– Несомненно, достопочтенный отец. Итак, вы желаете, чтобы я обещал вам пощадить вашу жизнь?

– Да. Впрочем, вы можете обещать, а потом скажете, что подразумевали при этом вечную жизнь, – прибавил он вдруг.

– Очень может быть. Ибо что такое жизнь? Насмешка, намек на нечто лучшее. Действительна только та жизнь, которая ждет нас за гробом, если, конечно, она есть.

– Нет! Нет! Вы должны пощадить мою здешнюю жизнь.

– Извольте, достопочтенный отец. Но, как разъясняют в подобных случаях святые отцы, я не вправе обещать то, что от меня не зависит. Я, конечно, могу дать вам обещание, но оно необязательно для меня. Жизнь и смерть в руках Господних. Если ему угодно, вы умрете при моем участии. Разве я виноват в этом? А если ему это не угодно, то какой вред я могу вам причинить?

Он протер глаза.

– Человечество многим обязано фре Николаю Эмерику и последующим инквизиторам. Им удалось осветить дело с новой точки зрения. Итак, я могу дать вам это обещание, достопочтенный отец, и даже с большим удовольствием.

Монах затрясся. Было чрезвычайно забавно наблюдать за борьбой чувств на его лице. Он был уже не в силах скрывать свои эмоции.

– Обещание это, конечно, ни в чем не может мне помешать, – начал я опять. – У меня еще будет возможность замучить вас пытками. Я, разумеется, поставлю известный предел пыткам. Но если вы умрете раньше, то в этом не я буду виноват.

– В таком случае я не стану писать дальше, – сказал монах, помолчав.

– Ну нет. Писать вы будете. И притом без всяких обещаний. Иначе я прикажу пытать вас до тех пор, пока вам самому не захочется писать. Уезжая из Испании, я имел случай познакомиться с новыми приемами, которые применяются к

упорным еретикам. Они очень скоро делают их разумными.

Судорога прошла по его лицу. Он сел к столу и взял перо.

– Диктуйте, – произнес он сдавленным голосом.

– Отлично. Что это, достопочтенный отец? У вас дрожат руки! Не обращайтесь на это внимания. Когда делаешь такого рода признания, то это даже хорошо – производит больше впечатления.

«Долгое время, – начал я диктовать, – эти мысли терзали мой ум. Трудно удержаться, чтобы не проговориться о том, что лежит на душе. Однако ж во время моего разговора с приором у меня вырвались слова, которые я хотел бы взять назад. Но было уже поздно. Приор взглянул на меня как-то подозрительно. На следующий день у меня пропала брошюра, в которой излагались некоторые новые учения. Мне стало ясно, что время терять нечего, и, подкараулив приора в церкви, я убил его. Он молился в церкви каждый день в определенный час, когда в ней никого не было. Чтобы отвлечь подозрение от себя, я открыл раку Богородицы и ограбил ее, взяв оттуда все сокровища. Потом я пытался вернуть их – монахи и народ сочли бы это за чудо, – но не представлялось подходящего случая. Я был напуган, потому что с этими сокровищами стало твориться что-то неладное. Я не верю в сверхъестественную силу, но всякий раз, как я хотел сжечь их или выбросить от себя, мою руку останавливала какая-то сила. Таким образом, я вынужден был носить их все время с собой, лишь изредка пряча в одно потайное место. В настоящее время они находятся под алтарем в часовне Богородицы в нашем монастыре».

Монах вдруг вскочил и впился в меня взглядом.

– Откуда вы это знаете? – спросил он. Я улыбнулся:

– Раньше я этого не знал, а теперь знаю.

Если бы он мог убить меня взглядом, он сделал бы это с наслаждением.

– Из вас вышел бы превосходный инквизитор, – сказал он сквозь зубы.

– Могу поручиться, что я справился бы с этим делом как следует. Но у меня нет к нему призвания. Ну, теперь закончим наши признания.

«С того времени я вел жизнь, о которой мне противно вспоминать и писать. Я мучился опасениями и плотскими желаниями, но не находил в себе силы порвать со всем этим и начать новую жизнь. Я не могу вести жизнь бродяги и отказаться от власти над людьми. Но по временам прошлое встает передо мной, темное и страшное, и я дрожу при виде представляющихся мне призраков. Тени моих жертв являются ко мне по ночам и вопиют: „Покайся! покайся!“, но что толку – каяться человеку? И Богородица являлась мне, приказывая вернуть ее сокровища. Это, вероятно, была галлюцинация. Но все это очень страшно. Да простит меня Господь Бог. Все это я написал в припадке отчаяния 20 июля 1572 года. Брат Бернардо Балестер».

– Так будет хорошо. Если это покаяние получит огласку, то вы прославитесь как человек, еще не потерявший окончательно совесть. Если вас сожгут, то сожгут торжественно, как настоящего ересиарха. Теперь остается только послать Диего отыскивать похищенные сокровища. Когда они будут в наших руках, вы отошлете их в Антверпен на хранение к ювелиру де Врису и прикажете ему не выдавать их никому, даже вам самому, если вы явитесь без подписанного мной удостоверения. Вам лучше написать письмо де Врису теперь же, чтобы совсем покончить с этим делом. Благодарю вас, – добавил я, когда письмо было готово. – Теперь слушайте. Пока вы не будете выходить из роли кающегося грешника, вы будете в безопасности. Но как только я услышу о каких-либо интригах с вашей стороны против меня – а я, конечно, об этом услышу, – я немедленно отошлю эту бумагу кому следует. Приор церкви Святого Фирмэна, насколько я помню, происходил из хорошей семьи. Один из его братьев – кардинал. Затем я вас больше не задерживаю. Уже поздно, и вы, вероятно, устали.

Доминиканец тяжело поднялся, опираясь на стол.

– Дон Хаим де Хорквера, – медленно заговорил он, – будьте уверены, что я всю жизнь буду помнить эти часы. Вы просили меня прибавить вам проклятий. Хорошо. Вы осилили меня ложью. Пусть же и вы погибните ото лжи.

– Да падет это проклятие на вашу собственную голову, – строго возразил я. – Но во всяком случае помните, достопочтенный отец, помните все и не забывайте ничего. Я боюсь, впрочем, что вы не исполните этого и будете раскаиваться и

снова грешить, и так до окончания жизни. Спокойной ночи!

Было уже поздно, когда я вернулся к себе домой. Но спать мне совершенно не хотелось. Мне нужно было отправить мои бумаги рано утром. Писать надо было о многом, не об одном отце Бернардо. Ведь в конце концов меня послали сюда вовсе не для того, чтобы спасти красавиц от костра и препираться с инквизитором, а для того, чтобы охранять эту пограничную крепость – благо пламя восстания еще не совсем погасло – и обеспечить безопасность транспортов, которые шли вверх по Рейну навстречу армии герцога Альбы. По этому вопросу передо мной на столе уже лежал рапорт дона Рюнца, и мне оставалось только переписать его в своем донесении.

Остальное нужно было обдумать хорошенько, ибо все зависело от того, в каком свете дело будет представлено в Брюсселе и Мадриде. Я не мог сообщить им, что я нашел весь город готовым к восстанию. Этому герцог никогда бы не простил мне. Наоборот, я старательно отмечал, что не встретил ни одного проступка, не слышал ни одного слова против короля. Я указал также, что действия инквизитора совершенно не соответствуют приказаниям герцога, который запретил ему возбуждать процессы до моего прибытия, что процессы, которые он затевал, производили крайне невыгодное впечатление, так как были направлены всегда против богатых еретиков, и что, по моему мнению, монах этот заслуживает того, чтобы его хорошенько проучить. Далее я писал, что ввиду жалоб, принесенных на отца Бернардо, вполне основательных и проверенных, я счел за лучшее ознаменовать начало моего управления актом справедливости и милосердия и что, решившись вести себя таким образом, я не мог остаться равнодушным, когда монах вздумал высказывать открытое непослушание представителю короля и делать по-своему.

Таково было мое донесение герцогу Альбе.

В бумаге к главному инквизитору я не так распространялся об этом происшествии, но зато прямо указывал на непригодность инквизитора для исполнения его обязанностей. В отдельный конверт, который как будто шел не от меня, я вложил исповедь монаха. Затем я сообщал главному инквизитору о Бригитте Дорн и Анне ван Линден. В конце я сделал приписку о том, как приветствовал народ короля Филиппа.

Чего же им было еще желать? Однако утром я отправил эти бумаги с чувством полной неуверенности.

Я не боюсь герцога Альбу. В душе он может бранить меня дураком, но наружно он должен поддерживать в моем лице авторитет власти. Не боюсь я и главного инквизитора отца Михаила де Бея, человека просвещенного, который сам подвергся когда-то обвинению в ереси и должен был клятвенно отказаться от своего мнения. Он не фанатик и первый будет рад тому, что отца Балестера уберут с его поста. Я боялся только одного человека, спокойного, с землистым лицом. Он отсюда за тысячу верст и зовут его король Филипп. Сидя в своей комнате, он молча управляет половиной мира. Он не забывает и не прощает преступлений против церкви. Разве он не сказал, что если бы его собственный сын был уличен в ереси, то он сам принес бы дрова, чтобы сжечь его. Я дважды рвал и переписывал письмо к одному из своих друзей, пользовавшихся влиянием при дворе. Но как бы там ни было, дело сделано, и его не переделаешь. Да я и не хотел бы его переделывать.

Прошла уже добрая часть ночи, когда отправились мои курьеры, и стук копыт их лошадей замер в ночной тиши. Я подошел к окну и хотел посмотреть, как они будут отправляться, но видно было плохо. Густой туман заволакивал все. Я немного постоял у окна. Внизу и вокруг меня город спал, не опасаясь за завтрашний день, насколько в Голландии можно не опасаться в нынешние времена. На тревожный вопрос, который этим летом встал передо всеми голландскими городами и встанет затем перед теми, кто преградит дорогу армии герцога, – на вопрос о покорности или бунте, – на этот вопрос сегодня здесь был дан ответ.

Я легко могу себе представить, как тревожно поднимался он в эти последние дни, предшествовавшие моему приезду, и как с каждым часом он становился все настойчивее и настойчивее. Можно было слышать, как об этом громко говорили в тавернах, куда собирались люди, чтобы почерпнуть мужества в стакане вина. Об этом говорили и в каждом доме, не так громко, но зато более серьезно. Об этом же говорили шепотом, закрыв двери, и в городском совете. Об этом же молча, но раздражено, думал каждый про себя. Многие старались отместить этот вопрос, но это не удавалось. Всю ночь он лез в голову любому мужу и жене. Они не могли спать, но молчали, не желая признаться друг другу. В каждом доме шли раздоры. Ибо в одной половине дома спали те, кто дрожал от страха и хотел во что бы то ни стало спокойствия, а в другой – те, кто был готов скорее встретить смерть, чем отказаться от своего Бога.

Одни боялись за свое богатство, другие – за своих жен и дочерей, третьи за честь своего города. Боялись вообще все, ибо можно было потерять многое.

Вопрос пока остался не разрешенным. Когда сегодня утром люди собрались на площади, он был еще не решен и ждал своего разрешения с помощью меча. Они видели это, видели со страхом. Было уже поздно, и они понимали, что у них не хватило мужества. И вдруг вопрос этот был решен за них и решен так, что все выиграли. Прежде всего испанское управление дало им гораздо больше, чем могло бы дать им восстание. Они могли разойтись по домам, не рискуя ничем, и воображать на досуге, что вели себя геройски.

Они могут спать спокойно и должны быть благодарны. Если кому придется когда-нибудь расплачиваться за сегодняшний день, то только мне, одному мне. И это будет справедливо. Ибо тот, кто желает управлять, кто привык повторять: «Я выше этого стада», тот должен уметь встретиться в жизни с многим, что вызвало бы у них ужас.

Я отвернулся от окна и подошел к своему столу, на котором горели свечи в низких подсвечниках. До рассвета было еще далеко. Не чувствуя никакого желания спать, я поставил на стол новые подсвечники, сел и стал писать в эту книгу все, что со мной случилось.

Гертруденберг, 2 октября.

Сегодня утром в половине девятого, спускаясь вниз, я встретил на лестнице донну Изабеллу. Я поклонился ей и вежливо осведомился о том, как она почивала.

– Боюсь, что ночью вас беспокоили, – сказал я. – Я вернулся домой около двух часов ночи, а в пять уезжали курьеры с депешами. Я приказал им двигаться осторожнее, но, что ни делай, оружие и шпоры производят шум.

– Прошу не беспокоиться об этом, сеньор, – отвечала она так же церемонно, как и я. – Когда у нас гости, то мы заботимся только о том, чтобы им было удобно, и забываем о своих удобствах. Кроме того, нас действительно никто не беспокоил. Но вам едва ли удалось отдохнуть.

Я пожал плечами:

– Солдатская жизнь! Я уже привык к ней и заставляю ее покоряться. Сейчас мне нужно идти в городской совет. Но сначала я хотел бы засвидетельствовать свое почтение мадемуазель де Бреголь. Полагаю, что я не помешаю ей в этот час. Ее дом находится, кажется, на Нижней площади?

– В двух шагах от площади. Я уверена, что она будет польщена вашим посещением, – отвечала она серьезно и вежливо, но с той особенной интонацией, которая так сердила меня.

Или, может быть, я становился уж чересчур подозрительным? Едва ли. Не думаю, чтобы она сама этого не замечала.

– Если это не составит для вас особого труда, сеньорита, то я попросил бы вас сопровождать меня туда. Если я пойду один, злые языки не преминут распустить сплетни на мой счет. Сеньора ван дер Веерена, как мне сказали слуги, сейчас нет дома. А откладывать визита я не могу – у меня потом будет много дел. Поэтому, если позволите просить вас...

Она слегка покраснела, но оттого ли, что мои слова ей были неприятны, или по какой-нибудь другой причине, этого я не могу сказать.

– Я исполню ваше желание, сеньор, – коротко ответила она. – Я только позову мою служанку, и через минуту мы будем к вашим услугам.

Был прекрасный солнечный день, но на улице было еще холодно и сумрачно, когда мы вышли из дома. Осеннее солнышко не поднялось еще так высоко, чтобы осветить кровли зданий. От верхних этажей на улицу падала еще тень, и мы шли в полумраке. Только за аркой, которая перекинута в конце улицы, день уже наступил вполне. Это была небольшая площадка, беспрестанно затемняемая силуэтами прохожих. Однако с каждым мгновением освещенное место все расширялось и расширялось, становилось все ярче и ярче. Когда мы подошли ближе и протиснулись сквозь толпу народа и целые ряды повозок, то оказалось, что перед нами довольно большая площадь, вся залитая лучами солнца, теплыми, мягкими лучами северного осеннего солнца. От них все как будто изменило свой вид, народ двигался туда и сюда, и люди в этом свете выглядели словно существа какого-то другого мира.

Я инстинктивно остановился, чтобы оглядеться. Обернувшись к донне Изабелле, я увидел, что и она, стоя молча около меня, устремила свои глаза на освещенную солнцем площадь. Мы оба стояли в глубокой тени. Ее пышные волосы казались еще темнее, а ее кожа еще белее от луча солнца, упавшего на ее кружевной воротник. Взгляд ее был печален, чего я никогда не замечал в ней раньше. Или, может быть, мне только так показалось по контрасту с солнечным светом? Как бы то ни было, но она была прекрасна.

Вдруг она тихо вскрикнула и покачнулась. Два солдата, шедшие сзади нас и, очевидно, не заметившие вследствие ослепительного света ни меня, ни ее, стоявшую в тени, сильно толкнули ее и грубо при этом выругались. На мостовой было довольно скользко, и, отпрянув назад, она потеряла равновесие и упала бы, если б я не подхватил ее на руки. На одно мгновение ее холодная щека и душистые волосы прикоснулись к моему лицу, и мною вдруг овладело безумное желание поцеловать ее и посмотреть, как она рассердится на меня. Впрочем, это желание тут же и погасло, я стал смеяться над собой за мою сумасбродную идею. Во мне шевельнулось даже презрение к самому себе. Неужели у меня, дона Хаима де Хорквера, нет другой цели в жизни, как только целовать хорошеньких женщин ради удовольствия посмотреть, как они от этого вспыхнут! Нужно было только взглянуть на этих двух уходивших солдат, чтобы вернуться к действительности!

– Эй, назад! – крикнул я им. При звуке моего голоса оба солдата повернулись и, узнав меня, казалось, окаменели.

– Как вы ведете себя? – строго спросил я. – Марш назад в казармы и доложите начальству, что я велел арестовать вас на неделю. Это научит вас ходить осторожнее.

Они отдали мне честь и, ни слова не говоря, повернули обратно.

– Прошу покорнейше извинения, сеньорита, за их грубость. Это грубые люди, они явились сюда после четырех месяцев войны и не привыкли еще вести себя как следует в городе, в который они не ворвались штурмом через брешь в стене. Но, как видите, дисциплина у них есть. Больше они не будут толкаться, пока они здесь. Еще раз прошу извинения.

– В этом нет надобности, сеньор. Война есть война. Как можем мы рассчитывать на уважение со стороны иностранцев, если мы не в состоянии защищать себя сами? – с горечью сказала она.

В ее словах была сама правда, и я не мог спорить с ней. Действительно, куда бы мы ни приходили, мы почти не встречали сопротивления со стороны этого народа, и мы не обращали на него никакого внимания. Мне хотелось что-нибудь сказать, чтобы возразить ей, но у меня не нашлось для этого слов.

– Вы слишком строги, сеньорита, – произнес я наконец.

– Не имела в виду быть такой, – холодно ответила она.

Через залитую солнцем площадь каким-то темным, зажатым между высокими домами переулком мы вышли на небольшую, тихую площадь, окруженную старыми липами. На ней стояли старинные, аристократически выглядевшие дома, кое-где несколько уже обветшавшие и запущенные. Они как будто хотели сказать, что времена их расцвета давно миновали. Впоследствии я узнал, что это были дома богатейших людей в городе и что инквизиция пожинала здесь обильную жатву, так что у владельцев этих домов или их наследников остались слишком незначительные средства, чтобы поддерживать былой блеск. Сеньор де Бреголль прожил жизнь, не запятнав себя ничем, но и не обеднел, и его вдова с дочерью вели теперь скромный и уединенный образ жизни.

У дома, согласно приказанию, которое я отдал вчера, стоял часовой. Теперь он был уже не нужен. Инквизитор был в моей власти, и дело это можно было считать оконченным. Я приказал часовому уйти и постучал в дверь. Нам отворила дверь девушка с прекрасными волосами, но несколько бледным лицом, – испанская манера управления знала секрет, как делать людей бледными даже в Голландии. Нас повели наверх. Здесь были такие же панели и такая же отделка, как и в доме ван дер Веерена. Не осталось только ценных вещей и картин. Очевидно, буря, которая дважды поднималась над этим домом, унесла их с собой.

Мадемуазель де Бреголль приняла нас радушно, с той величавой грацией, которая всегда заставляла меня чувствовать при ней как будто в присутствии королевы, от которой я могу получить какую-нибудь милость и которой нельзя оказывать эту милость. А между тем я подарил ей жизнь и теперь пришел сюда

для того, чтобы сказать, что я обезопасил эту жизнь – конечно, настолько, насколько человек может быть уверен в будущем.

Она приняла нас одна, так как ее мать была нездорова. Я сказал то, что обыкновенно говорится в подобных случаях, и затем сразу перешел к цели моего посещения.

– Вчера вечером у меня был продолжительный разговор с отцом Бернардо. В конце концов он сознался, что вполне убежден в вашей невинности, так что я могу в настоящее время объявить вам что вы совершенно свободны от всякого судебного преследования. Мне хотелось сказать вам об этом поскорее. Вот почему я просил сеньориту ван дер Веерен проводить меня сюда, невзирая на то, что вы, может быть, еще нуждаетесь в отдыхе. Вы так храбро прошли через все судебные испытания, что мне трудно считать вас женщиной. Только идя сюда я сообразил, что с моей стороны, пожалуй, нескромно являться к вам так рано, – прибавил я, бросив взгляд на донну Изабеллу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/bertram_pol/ten-vlasti

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)